

**МИХАИЛ  
БУЛГАКОВ**

О СТРАСТЯХ  
И ПОРОКАХ  
(СБОРНИК)

Михаил Булгаков

**О страстях и пороках (сборник)**

«Public Domain»

2011

## **Булгаков М. А.**

О страстях и пороках (сборник) / М. А. Булгаков — «Public Domain», 2011

Когда страх и трепет полнее овладевают читательской душой? Когда Мастер вызывает Дьявола и отправляется в полет над околдованной Москвой, когда в лабораториях его фантазии лопаются, выпуская на свет чудовищ, роковые яйца и заполняют улицы люди с собачьими сердцами – или же когда Булгаков являет нам реалистичные картины советской Москвы либо предреволюционного томления? Реальность, пожалуй, страшнее, тем более что Булгаков и его персонажи не преминут подкрасить ее видениями морфиниста или бесовской игрой. Морфий – Дьяволиада – Москва краснокаменная... Страшно, страшно, страшно.

## Содержание

Морфий	6
Глава 1	6
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	13
Глава 5	25
Дьяволиада	26
I	26
II	28
III	30
IV	32
V	34
VI	37
VII	38
VIII	43
IX	44
X	47
XI	49
Москва краснокаменная	52
1	52
№ 13. – Дом Эльпит-Рабкоммуна	55
Чаша жизни	60
Сорок сороков	63
Панорама первая. Голые времена	63
Панорама вторая. Сверху вниз	64
Панорама третья. На полный ход	65
Панорама четвертая. Сейчас	66
Под стеклянным небом	68
Московские сцены	71
На передовых позициях	71
Бенефис лорда Керзона	75
Комаровское дело	78
День нашей жизни	82
Москва 20-х годов	86
Вступление	86
I	88
II	91
Пивной рассказ	94
Как, истребляя пьянство, председатель транспортников истребил!	96
Праздник с сифилисом	98
О пользе алкоголизма	100
Пролог	100
Эпилог	102
По поводу битья жен	103
Пьяный паровоз	105
«Развратник»	107

Я убил

109

# Михаил Афанасьевич Булгаков

## О страстях и пороках

### Морфий

#### Глава 1

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье – как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, – как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!

Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год!

Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за восемнадцать верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.

Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!

И вот я увидел их вновь наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели – вывеска с сапогами, золотой крендель, красные флаги, изображение молодого человека со свинными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за тридцать копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое.

До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у какого-то гражданина.

Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний!

На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, недалеко призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня), фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запасом красок.

Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.

Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье...

Сиделки бегали, носились...

Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции... Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? Пожалуйста, вон – низенький корпус, вон – крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом – главный врач-хирург. Воспаление легких? В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.

О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе самовара, и стынувший чай, и сон, после бессонных полутора лет...

Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого выюжного участка.

## Глава 2

Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлась зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы... Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями, своими силами, подобно герою Фенимора Купера выбираясь из самых диковинных положений.

Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь... скрип саней... короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях... Потом все это боком кувыркалось и проваливалось...

«Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. Кто-нибудь да сидит... Молодой врач вроде меня... Ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель... ну, и, скажем, май – и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло – придется, возможно, еще поездить... но, во всяком случае, своего участка я более никогда в жизни не увижу... Никогда... Столица... Клиника... Асфальт, огни...»

Так думал я.

«...А все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я стал отважным человеком... Я не боюсь... Чего я только не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней не лечил... Ведь... верно, нет. Позвольте... А агроном допился тогда до чертей... И я его лечил, и довольно неудачно... Белая горячка... Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию... Да ну ее... Как-нибудь впоследствии в Москве... А сейчас, в первую очередь, детские болезни... и еще детские болезни... и в особенности эта каторжная детская рецептура... Фу, черт... Если ребенку десять лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?.. Только детские болезни... и ничего больше... довольно умопомрачительных случайностей! Прощай, мой участок!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?.. Зеленый огонь... Ведь я покончил с ним расчеты на всю жизнь... Ну и довольно... Спать...»

– Вот письмо. С оказией привезли.

– Давайте сюда.

Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинуто поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег.

– Вы сегодня дежурите в приемном покое? – спросил я, зевая.

– Я.

– Никого нет?

– Нет, пусто.

– Ешли... – зевота раздирала мне рот, и от этого слова я произносил неряшливо, – кого-нибудь привезут... вы дайте мне знать шюда... Я лягу спать...

– Хорошо. Можно иттить?

– Да, да. Идите.

Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт.

В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы... Незабываемый бланк...

Я усмехнулся.

«Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе... Предчувствие...»

Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые...

– Ничего не понимаю... Путаный рецепт... – пробормотал я и уставился на слово «morphini...». «Что, бишь, тут необычайного, в этом рецепте?.. Ах, да... Четырехпроцентный раствор! Кто же выписывает четырехпроцентный раствор морфия?.. Зачем?!»

Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано:

«11 февраля 1918 года. Милый collega! Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжело и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме Вас.

Второй месяц я сижу на бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в городе и сравнительно недалеко от меня.

Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день. Хоть на час. И если Вы скажете, что я безнадежен, я Вам поверю... А может быть, можно спастись?.. Да, может быть, еще можно спастись?.. Надежда блеснет для меня? Никому, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма».

– Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку... Как ее зовут?.. Ну, забыл... Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. Поскорее.

– Счас.

Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника.

– Кто привез письмо?

– А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит.

– Гм... ну, ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу, отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.

– Хорошо.

Моя записка главному врачу:

«13 февраля 1918 года.

Уважаемый Павел Илларионович. Я сейчас получил письмо от моего товарища по университету доктора Полякова. Он сидит на Гореловском моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Родовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен. *Уважающий Вас д-р Бомгард*».

Ответная записка главного врача:

«Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте.

*Петров*».

Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелова можно было таким образом: завтра выехать в два часа дня с московским почтовым поездом, проехать тридцать верст по железной дороге, высадиться на станции N, а от нее двадцать две версты проехать на санях до Гореловской больницы.

«При удаче я буду в Горелове завтра ночью, – думал я, лежа в постели. – Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Ни тем, ни другим... Тогда бы он и написал просто: «Я заболел воспалением легких». А тут сумбурное, чуть-чуть фальшивое письмо... «Тяжко... и нехорошо заболел...» Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе... он скрывает... он

боится... Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем... Ну, нет. Уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтоб он выслал лошадей? Ни к чему! Телеграмма придет через день после моего приезда... Она ведь по воздуху в Горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол!»

Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, с щетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать.

«В самом деле: если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен нестись через вьюгу к нему? Что я, в один вечер вылечу его от люэса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак! Он на два года моложе меня. Ему двадцать пять лет... «Тяжко...» Саркома? Письмо нелепое, истерическое. Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень... И вот она налицо. Стягивает жилку на виске... Утром проснешься, стало быть, и от жилки ползет вверх на темя, скует полголовы, и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофеином. А каково в санях с пирамидоном?! Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, замерзнешь завтра в своем пальто... Что с ним такое?.. «Надежда блеснет...» – в романах так пишут, а вовсе не в серьезных докторских письмах!.. Спать, спать... Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно... Завтра».

Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать... Жилка ноет... Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот пишет другому. Ну, как умеет, как понимает... И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно... Может быть, это и не фальшивое и не романтическое письмо. Я не видел его, Сережку Полякова, два года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком... Да. Значит, стряслась какая-то беда... И жилка моя легче... Видно, сон идет. В чем механизм сна?.. Читал в физиологии... но история темная... не понимаю, что значит сон... как засыпают мозговые клетки?.. Не понимаю, говорю по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен... Одна теория стоит другой... Вон стоит Сережка Поляков в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом, а на столе труп...

Хм, да... ну, это сон...

### Глава 3

Тук, тук... Бух, бух, бух... Ага... Кто? Кто? Что?.. Ах, стучат... ах, черт, стучат... Где я? Что я?.. В чем дело? Да, у себя в постели... Почему же меня будят? Имеют право, потому что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого... Ночь. Спал я, значит, только один час. Как мигрень? Налицо. Вот она!

В дверь тихо постучали.

– В чем дело?

Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены.

– Кого привезли?

– Доктора с Гореловского участка, – хрипло и громко ответила сиделка, – застрелился доктор.

– По-ля-ко-ва? Не может быть! Полякова?!

– Фамилии-то я не знаю.

– Вот что... Сейчас, сейчас иду. А вы бегите к главному врачу, будите его, сию секунду.

Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой.

Сиделка метнулась – и белое пятно исчезло из глаз.

Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестнула меня по щекам на крыльце, вздула полы пальто, оледенила испуганное тело.

В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце в туче снега я столкнулся со старшим врачом, стремившимся туда же, куда и я.

– Ваш? Поляков? – спросил, покашливая, хирург.

– Ничего не пойму. Очевидно, он, – ответил я, и мы стремительно вошли в покой.

С лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марию Власьевну, акушерку из Горелова, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице.

– Поляков? – спросил я.

– Да, – ответила Мария Власьевна, – такой ужас, доктор, ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довести...

– Когда?

– Сегодня утром на рассвете, – бормотала Мария Власьевна, – прибежал сторож, говорит: «У доктора выстрел в квартире...»

Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков, и с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные, ступни валенок у меня привычно екнуло сердце.

Шапку с него сняли – и показались слипшиеся, влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замелькали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в щипок на плече, чтобы впрыснуть камфару. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил:

– Бросьте камфару. К черту.

– Молчите, – ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу.

– Сердечная сумка, надо полагать, задета, – шепнула Мария Власьевна, цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бескровные веки раненого (глаза его были закрыты). Тени

серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступал на тенях.

– Револьвер? – дернув щекой, спросил хирург.

– Браунинг, – пролепетала Мария Власьева.

– Э-эх, – вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал хирург и, махнув рукой, отошел.

Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач.

Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение! Мария Власьева болезненно сморщилась, вздохнула.

– Доктора Бомгарда, – еле слышно сказал Поляков.

– Я здесь, – шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.

– Тетрадь вам... – хрипло и еще слабее отозвался Поляков.

Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в темь потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу.

Доктор Поляков умер.

Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь.

На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат вскрытый конверт и листок. На нем написано:

«Милый товарищ!

Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно.

И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник Вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует Вас, прочтите историю моей болезни. Прощайте, Ваш С. Поляков».

Приписка крупными буквами:

«В смерти моей прошу никого не винить.

*Лекарь Сергей Поляков*

*13 февраля 1918 года».*

Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. Первая половина страниц из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи, в начале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.

## Глава 4

*«...7 год<sup>1</sup>, 20 января.*

...и очень рад. И слава богу: чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных крестьян. Но они ведь ничем не тронут моей раны? Других, впрочем, не хуже моего рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну (ратники ополчения второго разряда выпуска 1916 года), разместили в землянках. Впрочем, это не интересно никому. Из приятелей узнал только об Иванове и Бомгарде. Иванов выбрал Архангельскую губернию (дело вкуса), а Бомгард, как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего, за три уезда от меня, в Горелове. Хотел ему написать, но раздумал. Не желаю видеть и слышать людей.

*21 января.*

Вьюга. Ничего.

*25 января.*

Какой ясный закат. Мигренин – соединение antipyrin'a, coffein'a и ac. citric.

В порошках по 1,0... разве можно по 1,0?.. Можно.

*3 февраля.*

Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. «Аида» шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: «...Мой милый друг, приди ко мне...»

У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке...

*(Здесь перерыв, вырвано две или три страницы.)*

...конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимназически глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла! Не хочет жить – ушла. И конец. Как все просто, в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла.

Убить ее? Убить? Ах, как все глупо, пусто. Безнадежно!

Не хочу думать. Не хочу...

*11 февраля.*

Все вьюги да вьюги... Заносит меня! Целыми вечерами я один, один. Зажигаю лампы и сижу. Днем-то я еще вижу людей. Но работаю механически. С работой я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда.

Сегодня в первый раз делал операцию поворота.

Итак, три человека погребены здесь под снегом: я, Анна Кирилловна – фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они (фельдш. персонал) живут во флигеле. А я один.

*15 февраля.*

Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина – сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника (аппенд., напр.), у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели?

Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим, Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего?

---

<sup>1</sup> Несомненно, 1917 год. Д-р Бомгард.

Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим. А Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену.

Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли:



Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо – без мыслей о моей, обманувшей меня.

*16 февраля.*

Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня нехмурым.

– Разве я хмурый?

– Очень, – убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу.

– Такой уж я человек.

Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы.

Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудную костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро один сантиграмм.

Боли прекратились мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек.

*18-го.*

Четыре укола не страшны.

*25 февраля.*

Чудак эта Анна Кирилловна! Точно я не врач. Полтора шприца = 0,015 morph? Да.

*1 марта.*

Доктор Поляков, будьте осторожны!

Вздор.

Сумерки.

Но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я – мужчина.

Анна К. стала моей тайной женою. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров.

Снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются...

Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием. В самом деле: куда к черту годится человек, если малейшая невралгия может выбить его совершенно из седла!

Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громадной силой воли.

*2 марта.*

Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Николая II.

Я ложусь спать очень рано. Часов в девять.

И сплю сладко.

*10 марта.*

Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки как будто чуть голубоватее.

Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны.

Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен.

Так что вот – я вижу жутко освещенную рампу, из нее пышет разноцветная лента огней. Амнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр, совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна... (В нормальном? Еще вопрос, какой сон нормальнее! Впрочем, шучу...) Беззвучна, а в моем сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Воине и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой – замечательный писатель!

Теперь о прозрачности; так вот, сквозь переливающиеся краски «Аиды» выступает совершенно реально край моего письменного стола, видный из двери кабинета, лампа, лоснящийся пол, и слышны, прорываясь сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастаньеты.

Значит, восемь часов, – это Анна К. идет ко мне будить меня и сообщить, что делается в приемной.

Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с нею.

И такой опыт я проделал вчера.

*Анна.* Сергей Васильевич...

*Я.* Я слышу... (Тихо музыке: «Сильнее».)

Музыка – великий аккорд.

Ре-диез...

*Анна.* Записано двадцать человек.

*Амнерис* (поет).

Впрочем, этого на бумаге передать нельзя. Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю сильным и бодрым. И работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и немудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей.

А теперь я спокоен.

Я спокоен.

*19 марта.*

Ночью у меня была ссора с Анной К.

– Я не буду больше готовить раствор.

Я стал ее уговаривать:

– Глупости, Аннуся. Что я, маленький, что ли?

– Не буду. Вы погибнете.

– Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди!

– Лечитесь.

– Где?

– Уезжайте в отпуск. Морфием не лечатся. – Потом подумала и добавила: – Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку.

– Да что я, морфинист, что ли?

– Да, вы становитесь морфинистом.

– Так вы не пойдете?

– Нет.

Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав.

Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню. Посмотрел. На доньшке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц – оказалось четверть шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел – ни одной трещинки. Просидел в спальне около двадцати минут. Выхожу – ее нет.

Ушла.

Представьте себе, не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок, на крылечко. Ночь тихая, тихая. Снег рыхл. Где-то далеко в небе тянет весной.

– Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки.

Она шепнула:

– Не дам.

– Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам как врач.

Вижу в сумраке, ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость. Но тут же злость опять наплыла на меня.

Она:

– Зачем, зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я – жалеючи вас.

И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их.

Я (грубо):

– Дайте ключи!

И вырвал их из ее рук.

И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым, прыгающим мосткам.

В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного впрыскивания. Я врач, а не фельдшерица!

Шел и трясся.

И слышу, сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю:

– Сделаете или нет?

И она взмахнула рукою, как обреченная, «все равно, мол», и тихо ответила:

– Давайте, сделаю...

...Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком.

Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит:

– Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю. И себя я проклиная за то, что я тогда сделала вам впрыскивание.

Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу.

– Сколько вы сейчас впрыснули?

– Вздор. Три шприца однопроцентного раствора.

Она сжала голову и замолчала.

– Да не волнуйтесь вы!

...В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, Morphinum hidrochloricum грозная штука. Привычка к нему создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?..

...По правде говоря, эта женщина единственный верный, настоящий мой человек. И, в сущности, она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию...

*8 апреля 1917 года.*

Это мучение.

*9 апреля.*

Весна ужасна.

Черт в склянке. Кокаин – черт в склянке!

Действие его таково:

При впрыскивании одного шприца двухпроцентного раствора почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной ломаной и черной тянется к небу, и за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат.

Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу сделать? Пятнадцать или шестнадцать – не больше. А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На марле лежит шприц рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав йодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот: я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает. Я узнаю об этом по тому, что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах гудят, как небесный хор. Но вот мгновение, и кокаин в крови, по какому-то таинственному закону, не описанному ни в какой из фармакологий, превращается во что-то новое. Я знаю: это смесь дьявола с моей кровью. И никнет Влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, беспокойно гроыхая, выжигает мне внутренности. И так несколько раз подряд в течение вечера, пока я не пойму, что я отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чувствую его в руках, в висках... а потом оно проваливается в бездну, и бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не вернется к жизни...

*13 апреля.*

– Я – несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин – сквернейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сегодня я – полутруп...

*6 мая 1917 года.*

Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни, и у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире (если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны).

Итак, если вести историю болезни, то вот: я впрыскиваю себе морфий два раза в сутки: в 5 часов дня (после обеда) и в 12 час. ночи перед сном.

Раствор трехпроцентный, два шприца. Следовательно, я получаю за один раз 0,06.

Порядочно!

Прежние мои записи несколько истеричны. Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив: весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера.

Вздор! Он не догадывается. Ничто не выдаст меня. Зрачки меня могут предать лишь вечером, а вечером я никогда не сталкиваюсь с ним.

Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина (которого у нас сколько угодно), и говорит:

– Сорок грамм морфия?

И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею...

Он говорит:

– Нет у нас такого количества. Граммов десять дам.

И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он шупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь.

Нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому поставлю себе за правило: вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, впрочем, места, чем мой участок, для этого не найти, вот уже более полугодом я никого не вижу, кроме моих больных. А им до меня дела нет никакого.

*18 мая.*

Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло бледно и тревожно. Идет гроза.

Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия:

«...большое беспокойство, тревожное, тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинации и небольшая степень затемнения сознания...»

Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать – о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова!

«Тоскливое состояние»!..

Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфинистом, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не жаждала... Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Двигается, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!

Смерть от жажды райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раз-

дирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги...

Смерть – сухая, медленная смерть...

Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое состояние».

Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя.

Вздых. Еще вздох.

Легче. А вот... вот... мятный холодок под ложечкой...

Три шприца трехпроцентного раствора. Этого мне хватит до полуночи...

Вздор. Эта запись – вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу!.. А сейчас спать, спать.

Этотую глупую борьбой с морфием я только мучаю и ослабляю себя.

*(Далее в тетради вырезано десятка два страниц.)*

...ря.

...ять рвота в 4 час. 30 минут.

Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления.

*14 ноября 1917 года.*

Итак, после побега из Москвы из лечебницы доктора... *(фамилия тщательно зачеркнута)* я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном – о чудных божественных кристаллах. Когда фельдшерница, совершенно терроризированная пушечным буханием...

*(Здесь страница вырвана.)*

...вал эту страницу, чтобы никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм.

Да что костюм!

Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору Н. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Ведь он – психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку.

Он сказал:

– Спасибо, – и добавил: – Что же вы теперь думаете делать?

Я сказал бойко (я был в этот момент в состоянии эйфории):

– Я решил вернуться к себе в глушь, тем более что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь, я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя.

Ответил он так:

– Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, кому вы говорите?..

– Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть... в особенности теперь, когда происходят все эти события... меня совершенно издергала стрельба...

– Она кончилась. Вот новая власть. Ложитесь опять.

Тут я вспомнил все... холодные коридоры... пустые, масляной краской выкрашенные стены... и я ползу, как собака с перебитой ногой... чего-то жду... Чего? Горячей ванны?.. Укольчика в 0,005 морфия? Дозы, от которой, правда, не умирают... но только... а вся тоска остается, лежит бременем, как и лежала... Пустые ночи, рубашку, которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили?..

Нет. Нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения, ну так найдите же способ и лечить без мучений! Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мной дверь и силою удержать меня в лечебнице...

Профессор побагровел.

– Я не тюремный надзиратель, – не без раздражения молвил он, – и у меня не Бутырки. Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальны, две недели назад. А между тем... – он выразительно повторил мой жест испуга. – Я вас не держу-с.

– Профессор, верните мне мою расписку. Умоляю вас, – и даже голос мой жалостливо дрогнул.

– Пожалуйста.

Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку (о том, что я обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице и т. д., словом, обычного типа).

Дрожащей рукой я принял записку и спрятал, пролепетав:

– Благодарю вас.

Затем встал, чтобы уходить. И пошел.

– Доктор Поляков! – раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери. – Вот что, – заговорил он, – одумайтесь. Поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, ну, немножко попозже... И притом попадете в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практиковать нельзя, и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы.

Я вздрогнул и ясно почувствовал, что краска сошла у меня с лица (хотя и так ее очень немного у меня).

– Я, – сказал я глухо, – умоляю вас, профессор, ничего никому не говорить... Что ж, меня удалят со службы... Ославят больным... За что вы хотите мне это сделать?

– Идите, – досадливо крикнул он, – идите! Ничего не буду говорить. Все равно вас вернут...

Я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда... Почему?..

Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты-то ведь не выдашь меня? Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. Три кубика в кристаллах и десять грамм однопроцентного раствора.

Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? А? По совести?

Взломал бы.

Итак, доктор Поляков – вор. Страницу я успею вырвать.

Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать я могу, я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда.

Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во время боев и всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине пятнадцать грамм однопроцентного раствора – вещь для меня бесполезная и нудная (девять шприцов придется впрыскивать!). И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму,

получил без всякой задержки в другой аптеке двадцать граммов в кристаллах – написал рецепт для больницы (попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин). Да в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я морфинист. Кому какое дело, в конце концов?

Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель! Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво.

У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять, – способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество – это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость...

Ночь течет, черна и молчалива. Где-то оголенный лес, за ним речка, холод, осень. Далеко, далеко взьерошенная буйная Москва. Мне ни до чего нет дела, мне ничего не нужно, и меня никуда не тянет.

Гори, огонь в моей лампе, гори тихо, я хочу отдохнуть после московских приключений, я хочу их забыть.

И забыл.

Забыл.

*18 ноября.*

Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом.

Распад личности – распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал впрыскивания (теперь я делаю впрыскивания три раза в день по три шприца четырехпроцентного раствора). Неудобно. Мне жаль Анны. Каждый новый процент убивает ее. Мне жаль. Ах, какой человек!

Да... так вот... когда стало плохо, я решил все-таки помучиться (пусть бы полюбовался на меня профессор N) и оттянуть укол и ушел к реке.

Какая пустыня. Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней... Идут, идут к Левковской больнице... И я ползу, опираясь на палку (сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время).

И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро, и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом, старушонка с желтыми волосами... В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно – почему на холоде старушонка простоволосая, в одной кофточке?... А потом: откуда старушонка? Какая? Кончится у нас прием в Левкове, разъедутся последние мужицкие сани, и на десять верст кругом – никого. Туманцы, болотца, леса! А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине – понял! Старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо? Но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки – вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разрывалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну... и морфию...

И я прибежал.

Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация.

*19 ноября.*

Рвота. Это плохо.

Ночной мой разговор с Анной 21-го.

*Анна.* Фельдшер знает.

*Я.* Неужели? Все равно. Пустяки.

*Анна.* Если ты не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь? Посмотри на свои руки, посмотри.

*Я.* Немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать.

*Анна.* Ты посмотри – они же прозрачны. Одна кость и кожа... Погляди на свое лицо... Слушай, Сережа. Уезжай, заклинаю тебя, уезжай...

*Я.* А ты?

*Анна.* Уезжай. Уезжай. Ты погибаешь.

*Я.* Ну, это сильно сказано. Но я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел? Ведь неполный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня.

*Анна (печально).* Что тебя может вернуть к жизни? Может быть, эта твоя Амнерис – жена?

*Я.* О нет. Успокойся. Спасибо морфию, он меня избавил от нее. Вместо нее – морфий.

*Анна.* Ах ты, боже... что мне делать?..

Я думал, что только в романах бывают такие, как эта Анна. И если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. Пусть тот не вернется из Германии.

*27 декабря.*

Давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан, лошади ждут. Бомгард уехал с Гореловского участка, и меня послали замещать его. На мой участок – женщина-врач.

Анна – здесь... Будет приезжать ко мне.

Хоть тридцать верст.

Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мукой.

Прощай, Левково. Анна, до свидания.

*1918 год. Январь.*

Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым божком.

Во время лечения я погибну.

И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно.

*15 января.*

Рвота утром.

Три шприца 4%-ного раствора в сумерки.

Три шприца 4%-ного раствора ночью.

*16 января.*

Операционный день, поэтому большое воздержание – с ночи до шести часов вечера.

В сумерки – самое ужасное время – уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял:

– Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.

После впрыскивания все пропало сразу.

*17 января.*

Вьюга: нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет.

Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество.

Здесь нужно быть осторожным – здесь фельдшер и две акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. Растворы я готовлю сам или посылаю Анне заблаговременно рецепт. Один раз она сделала попытку (нелепую) подменить пятипроцентный двухпроцентным. Сама привезла его из Левкова в стужу и буран.

И из-за этого у нас была тяжелая ссора ночью. Убедил ее не делать этого. Здешнему персоналу я сообщил, что я болен. Долго ломал голову, какую бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжелая неврастения. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко. В работе никаких сбоев. Избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катар желудка. Ах, слишком много болезней у одного человека.

Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня в отпуск.

Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью.

Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил четыре пуда, теперь три пуда пятнадцать фунтов. Испугался, взглянув на стрелку, потом это прошло.

На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. Я не умею стерильно готовить растворы, кроме того, раза три я впрыскивал некипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой.

Это недопустимо.

*18 января.*

Была такая галлюцинация:

Жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог.

Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно это мучение, а не жизнь.

Гладко ли я выражаю свои мысли?

По-моему – гладко.

Жизнь? Смешно.

*19 января.*

Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал (почему-то со смехом), как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфий, принимала по полрюмки опийной настойки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что?

Я ушел из аптеки воровской походкой.

«Что вы видите смешного в этой болезни?»

Но удержался, удерж...

В моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми.

Ах, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие ничем, ничем, ничем помочь больному.

Ничем.

Предыдущие строки написаны во время воздержания, и в них много несправедливого.

Сейчас лунная ночь. Я лежу после припадка рвоты, слабый. Руки не могу поднять высоко и черчу карандашом свои мысли. Они чисты и горды. Я счастлив на несколько часов. Впереди у меня сон. Надо мною луна и на ней венец. Ничто не страшно после укола.

*1 февраля.*

Анна приехала. Она желта, больна.

Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех.

Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля.

Исполню ли я ее?

Да. Исполню.

Е. т. буду жив.

*3 февраля.*

Итак: горка. Ледяная и бесконечная, как та, с которой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний мой полет по этой горке, и я знаю, что ждет меня внизу. Ах, Анна, большое горе у тебя будет вскоре, если ты любила меня...

*11 февраля.*

Я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Потому, что он не психиатр, потому, что молод и товарищ по университету. Он здоров, силен, но мягок, если я прав. помню его. Быть может, он над... я в нем найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть отвезет меня в Москву. Я не могу к нему ехать. Отпуск я получил уже. Лежу. В больницу не хожу.

На фельдшера я наклеветал. Ну, смеялся... Не важно. Он приходил навещать меня. Предлагал выслушать.

Я не позволил. Опять предлоги для отказа? Не хочу выдумывать предлога.

Записка Бомгарду отправлена.

Люди! Кто-нибудь поможет мне?

Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь прочел бы это, подумал – фальшь. Но никто не прочт.

Перед тем как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убежал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденый морфий я впрыскивал в уборной... Это мучение. В двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место, и руки прыгают, и прыгает крючок, того и гляди распахнется дверь...

С тех пор и фурункулы у меня.

Плакал ночью, вспомнив это.

*12-го ночью.*

И опять плак. К чему эта слабость и мерзость ночью?

*1918 года. 13 февраля на рассвете в Горелове.*

Могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать часов! Четырнадцать! Это немислимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров?

По зрелому размышлению Бомгард не нужен мне и не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Таковую – нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался?

Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. И Анну. Что же я могу сделать?

Время залечит, как пела Амнер. С ней, конечно, просто и легко.

Тетрадь Бомгарду. Все...»

## Глава 5

На рассвете 14 февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записи Сергея Полякова. И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было изменений. Я не психиатр, с уверенностью не могу сказать, поучительны ли они, нужны ли? По-моему, нужны.

Теперь, когда прошло десять лет, жалость и страх, вызванные записями, конечно, ушли. Это естественно. Но, перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны? Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна К. умерла в 1922 году от сыпного тифа и на том же участке, где работала. Амнерис – первая жена Полякова – за границей. И не вернется.

Могу ли я печатать записки, подаренные мне?

Могу. Печатаю. Доктор Бомгард.

## Дьяволиада

### *Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя*

#### I

### Происшествие 20-го числа

В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых одиннадцать месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он – Коротков – будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в одиннадцать часов пополудни.

Вернулся же кассир в четыре с половиной часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку портфель и сказал:

– Не напирайте, господа.

Потом пошарил за чем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу – свою правую руку, и молвил:

– Денег не будет.

– Завтра? – хором закричали женщины.

– Нет, – кассир замотал головой, – и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.

– Как? – вскричали все и в том числе наивный Коротков.

– Граждане! – плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. – Я же прошу!

– Да как же? – кричали все и громче всех этот комик Коротков.

– Ну, пожалуйста, – сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:

«Выдать. За т. Субботникова – Сенат».

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

«Денег нет. За т. Иванова – Смирнов».

– Как? – крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

– Ах ты, господи! – растерянно заныл тот. – При чем я тут? Боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» – и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

## II Продукты производства

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

– Товарищ Коротков, идите жалованье получать.

– Как? – радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью: «Касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.

За т. Богоявленского – Преображенский.

И я полагаю – Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было четыре больших желтых пачки, пять маленьких зеленых, а в карманах тринадцать синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

– Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в губвинскладе.

– Войдите, – глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

– Сорок шесть, – сказала она и повернулась к Короткову.

– Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна, – вымолвил пораженный Коротков.

– Церковное вино, – всхлипнув, ответила соседка.

– Как, и вам? – ахнул Коротков.

– И вам церковное? – изумилась Александра Федоровна.

– Нам – спички, – угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.

– Да ведь они же не горят! – вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.

– Как это так, не горят? – испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй – в левый глаз товарища Короткова.

– А-ах! – крикнул Коротков и выронил коробку. Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

– Ах, боже мой! – расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненного в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь шестьдесят три спички!

– Врет, дура, – ворчал Коротков, – прекрасные спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидел дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.

### Ш

## ЛЫСЫЙ ПОЯВИЛСЯ

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.

Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой, – будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было облечено в расстегнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.

«Т-типик», – подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

– Что вам надо? – спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недалёковидный Коротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало, – обиделся.

– Гм... довольно странно... Я иду с бумагой... А позвольте узнать, кто вы так...

– А вы видите, что на двери написано?

Коротков посмотрел на дверь и увидел давно знакомую надпись: «Без доклада не входить».

– Я и иду с докладом, – сглупил Коротков, указывая на свою бумагу.

Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.

– Вы, товарищ, – сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками, – настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много интересного, например эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну, ничего, это мы все приведем в порядок. («А-а!» – ахнул про себя Коротков.) Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызанный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

– Ступайте! – рявкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении: в кабинете Чекушина не было.

Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни, личную секретаршу т. Чекушина.

– А-ах! – ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.

– Что это у вас?

– Спички! – раздраженно ответила Лидочка. – Проклятые.

– Кто там такой? – шепотом спросил убитый Коротков.

– Разве вы не знаете? – зашептала Лидочка. – Новый.

– Как? – пискнул Коротков. – А Чекушин?

– Выгнали вчера, – злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: – Ну и гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! – добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

– Как фа...

Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:

– Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять... «Неразвиты»... Хм... Нахал... Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова: «Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны».

– Вот это здорово! – восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедленно вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:

«Телефонограмма

Заведующему подотделом укомплектования точка. В ответ на отношение ваше за № 015015 (6) от 19-го числа запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведующий тире подпись Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал:

– Заведующему на подпись.

Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.

Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведующий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В три с половиной часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:

– Уехали на машине.

Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.

## IV

### Параграф первый – Коротков вылетел

На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на пятьдесят минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир – словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку, у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились.

– Здравствуйте, господа, что это такое? – спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.

#### ПРИКАЗ № 1

§ 1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а ровно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно.

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:

Заведующий Кальсонер

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

– Как? Как? – прозвенел два раза Коротков, совершенно как разбитый о каблук альпийский бокал. – Его фамилия Кальсонер?..

При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

– Ай, яй, яй, – загудел в отдалении, выглядывая из гроссбуха, Скворец, – как же вы это так, батюшка, промахнулись? А?

– Я ду-думал, думал... – прохрустел осколками голоса Коротков, – прочитал вместо «Кальсонер» – «кальсоны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!

– Подштанники я не одену, пусть он успокоится! – хрустально звякнула Лидочка.

– Тсс! – змеей зашипел Скворец. – Что вы? – Он нырнул, спрятался в гроссбухе и прикрылся страницей.

– А насчет лица он не имеет права! – негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как горностай. – Я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ де Руни!

– Тише! – пискнул побледневший Гитис. – Что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

«Д-р-р-р-р-р-р-р-р-р» – неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилося по коридору.

– Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! – высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридор и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью: «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.

– Товарищ Пантелеймон, – заговорил беспокойно Коротков. – Ты меня, пожалуйста,пусти. Мне нужно к заведующему сию минутку...

– Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, – захрипел Пантелеймон и страшным запахом луку затушил решимость Короткова, – нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет...

– Пантелеймон, мне же нужно, – угасая, попросил Коротков, – тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ... Пустите меня, милый Пантелеймон.

– Ах ты ж, господи... – в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон, – говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:

– Еду! Сейчас!

Пантелеймон и Коротков расступились: дверь распахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед ним задом.

– Товарищ Кальсонер, – забормотал он прерывающимся голосом, – позвольте одну минуточку сказать... Тут я по поводу приказа...

– Товарищ! – звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге. – Вы же видите, я занят! Еду! Еду!..

– Так я насчет прика...

– Неужели вы не видите, что я занят?.. Товарищ! Обратитесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган «Альпийской розы».

– Я ж делопроизводитель! – в ужасе облившись потом, визгнул Коротков. – Выслушайте меня, товарищ Кальсонер!

– Товарищ! – заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул: – Примите меры, чтоб меня не задерживали!

– Товарищ! – испугавшись, захрипел Пантелеймон. – Что ж вы задерживаете?

И не зная, какую меру нужно принять, принял такую: ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной, – Кальсонер ускользнул, словно на роликах, скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.

– Пит! Пит! – закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:

– Бе-да!

– Пантелеймон... – трясущимся голосом спросил Коротков, – куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли...

– Кажись, в Центроснаб.

Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.

## V

### Дьявольский фокус

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стучаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал, ушиб колено, поднял кепку и, под носом автомобиля, поспешил в вестибюль.

Покрывая полы мокрыми пятками, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На пятой площадке, когда делопроизводитель совершенно обессилел, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком: «Дортуар пепиньерок», другая черным по белому без твердого: «Начканцуправделснаб». Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидел стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки – там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов – женских и мужских, но Кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробежавшую с зеркальцем в руках.

– Не видели ли вы Кальсонера?

Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:

– Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.

Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидел открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову, – догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.

– Товарищ Кальсонер! – прокричал Коротков и ооченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице, – что же это такое?» И затем вторая: «Борода фальшивая, – это что же такое?»

А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноровые слова:

– Поздно, товарищ, в пятницу.

«Голос тоже привязной», – стукнуло в коротковском черепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка – гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись руки Короткова, спросила его:

– У вас, товарищ, порок сердца?

– Нет, ох, нет, товарищ, – выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке, – не задерживайте меня.

– Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, – сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.

– Я не хочу! – плаксиво вскричал Коротков. – Товарищ! Я спешу. Что вы?

Но женщина осталась непреклонной и печальной.

– Ничего не могу сделать, вы сами знаете, – сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.

– Пустите меня! – визгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены под надписью вверху серебром по синему: «Дежурные классные дамы» и внизу пером по бумаге: «Справочное». Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер – иссиня-бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не подалась.

Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись: «Кругом, через 6-й подъезд».

Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом.

– Где шестой? Где шестой? – слабо крикнул он кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.

– Что? Все ходите? – зашамкал он. – Ей-богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.

– Откуда вычеркнули? – остолбенел Коротков.

– Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком – чирк, и готово – хи-кхи, – старичок сладострастно засмеялся.

– Поз... вольте... Откуда же вы меня знаете?

– Хи. Шутник вы, Василий Павлович.

– Я – Варфоломей, – сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб, – Петрович.

Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка.

Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам.

– Что ж вы путаете меня? Вот он – Колобков В. П.

– Я – Коротков, – нетерпеливо крикнул Коротков.

– Я и говорю: Колобков, – обиделся старичок. – А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера – Чекушин.

– Что?.. – не помня себя от радости, крикнул Коротков. – Кальсонера выкинули?

– Точно так-с. День всего успел поуправлять, и вышибли.

– Боже! – ликуя, воскликнул Коротков. – Я спасен! Я спасен! – и, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и

улыбка, обнажившая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.

– Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?

– Обязательно, – подтвердил старичок, – тут и сказано – в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.

Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить, и увидел, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку.

– Голубчик! – бросился к нему Коротков. – Бумажник мой, желтый...

– Неправда это, – злобно ответил мальчишка, – не брал я, врут они.

– Да нет, милый, я не то... не ты... документы.

Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел басом.

– Ах, боже мой! – в отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку.

Но когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой.

Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и выпрыгнула одна новая: «Трамвай!» Он ясно вдруг вспомнил, как жали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький с черными, словно приклеенными, усиками.

– Ах, беда-то, вот уж беда, – бормотал Коротков, – это уж всем бедам беда.

Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания неприятной архитектуры. Серый человек, косою и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону, спросил:

– Куда ты лезешь?

– Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только что украли документы... Все до единого... Меня забрать могут...

– И очень просто, – подтвердил человек на крыльце.

– Так вот позвольте...

– Пущай Коротков самолично и придет.

– Так я же, товарищ, Коротков.

– Удостоверение дай.

– Украли его у меня только что, – застонал Коротков, – украли, товарищ, молодой человек с усиками.

– С усиками? Это, стало быть, Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специально работает. Ты его теперь по чайным ищи.

– Товарищ, я не могу, – заплакал Коротков, – мне в Спимат нужно, к Кальсонеру. Пустите меня.

– Удостоверение дай, что украли.

– От кого?

– От домового.

Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.

«В Спимат или к домовому? – подумал он. – У домового прием с утра; в Спимат, стало быть».

В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба.

«Поздно, – подумал Коротков, – домой».

## VI Первая ночь

В ушке замка торчала белая записка. В сумерках Коротков прочитал ее.

«Дорогой сосед!

Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье, его никто не хочет покупать. Они в углу.

*Ваша А. Пайкова».*

Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был, в кепке и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера. Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.

– Вот! Вот! Вот! – провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.

При воспоминании об яйцевидной голове появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился.

– Позвольте... как же это так?.. – прошептал он и провел рукой по глазам. – Это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь не двойной же он, в самом деле?

Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не полегчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обриваясь, выплывало по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал.

Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал.

– Позвольте... – вдруг пробормотал он, – чего же это я плачу, когда у меня есть вино?

Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут, – мучительно заболел левый висок, и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы...» – шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним.

## VII Орган и кот

В десять часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятил чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано: «Домовой». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали: «По случаю смерти свидетельства не выдаются».

– Ах ты, господи, – досадливо воскликнул Коротков, – что же это за неудачи на каждом шагу! – И добавил: – Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся.

Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом – никого. За столами, напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светло-серых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и продолжали скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно», – подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись: «Делопроизводитель», открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено строча пером, сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.

– Что вам угодно, товарищ? – вежливо проворковал он фальцетом.

Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:

– Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель... То есть... ну да, ежели помните приказ...

Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику.

– Извиняюсь, – вежливо ответил он, – здешний делопроизводитель – я.

Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:

– А как же? Вчера, то есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.

Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:

– Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?

И сам же себе ответил:

– Вторник, то есть пятница. Тысяча девятьсот.

Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорных лампочки, и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.

– Хорошо! – грохнул таз, и судорога свела Короткова. – Я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.

С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.

– Штат я разверстал, – быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. – Трое там, – он указал на дверь в канцелярию, – и, конечно, Манечка. Вы – мой помощник. Кальсонер – дело-производитель. Прежних всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в «Альпийской розе». Я сейчас сбегая в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех и в особенности насчет этого, как его... Короткова. Кстати: вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.

– Я. Нет, – сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью, – я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого.

– Все? – выкрикнул Кальсонер. – Вздор. Тем лучше.

Он впился в руку тяжело задышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съезжился и, закрыв глаза, забормотал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий № 0,15, место для подписи, тире, Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на Пэ и пятница на Пэ, а воскресенье... вскрсс... на Эс, как и среда...».

Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:

– Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.

Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:

– Ждите меня у Кальсонера.

Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:

«Предъявитель сего суть действительно мой помощник т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно.  
*Кальсонер*».

– О-о! – простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку. – Что же это такое делается?

В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся в своей бороде.

– Кальсонер уже удрал? – тоненько и ласково спросил он у Короткова.

Свет кругом потух.

– А-а-а-а... – взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы. Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:

– Курьер! Курьер! На помощь!

– Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ... – опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.

Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.

– Будут стрелять. Будут стрелять! – пронесся ее истерический крик.

Кальсонер выскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, гнилой шевиот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.

– Боже... – начал Коротков и не кончил.

В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя, и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:

Шумел, гремел пожар московский.

В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.

Ды-ым расстился по реке-е.

– Что я наделал? – ужаснулся Коротков.

Машина, повернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно, тысячеголовым, львиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.

А на стенах ворот кремлевских...

Сквозь вой и грохот и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход, – Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на Короткове, и, взвившись, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание «Альпийской розы»:

Стоял он в сером сюртуке...

На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.

– Господи! Господи! – бурно зарыдал Коротков. – Опять он! Да что же это?

Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:

– Гони! Гони, негодяй!

Кляча рванула, стала лягать ногами, затем, под жгучими ударами кнута, понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись в разные стороны выющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тузить его в спину с воплем:

– Езжай! Езжай! Я заплачу.

Извозчик, выкрикнув отчаянно:

– Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? – пустил клячу карьером, и все исчезло за углом.

Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:

– Довольно. Я так не оставляю! Я его разъясню. – Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в

вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:

– Где бюро претензий, товарищ?

– 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302, – ответил чайник женским голосом.

– 8-й, 9-й, 41-я, триста... триста... сколько бишь... 302, – бормотал Коротков, взбегая по широкой лестнице. – 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет, 42... нет, 302, – мычал он, – ах, боже, забыл... да, 40-я, сороковая...

В восьмом этаже он миновал три двери, увидел на четвертой черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:

– Ян Собесский.

– Не может быть... – ответил пораженный Коротков.

Мужчина приятно улыбнулся.

– Представьте, многие изумляются, – заговорил он с неправильными ударениями, – но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О, нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии – Соцвосский. Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно, – мужчина обидчиво скривил рот, – я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.

– Помилуйте, что вы! – болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленным взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлупа, потом добавил суконным языком: – Я очень рад, да, очень...

Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке; нежно пожимая руку Короткова, он повлек его к столику, приговаривая:

– И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки бумаги). Интриги... Но-о, мы развернемся, не беспокойтесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? – ласково спросил он у бледного Короткова. – Ах, да, виноват, виноват тысячу раз, позвольте вас познакомить, – он изящно махнул белой рукой в сторону машинки, – Генриетта Потаповна Персимфанс.

Женщина тотчас же пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.

– Итак, – сладко продолжал хозяин, – чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? – закатив белые глаза, протянул он. – Вы не можете себе представить до чего они нужны нам.

«Царица небесная... что это такое?» – туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:

– У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради бога, что это галлюцинации... Кхм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверяю вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет... кроме того, у меня украли все документы до единого, а домовою, как на грех, умер. Этот Кальсонер...

– Так я и знал! – вскричал хозяин. – Это они?

– Ах, боже мой, ну конечно, – отозвалась женщина, – ах, эти ужасные Кальсонеры.

– Вы знаете, – перебил хозяин, – я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйте. Ну что он понимает в журналистике?.. – Хозяин схватил Короткова за пуговицу. – Будьте добры, ска-

жите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот наконец убрал его. Я поставил вопрос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат или, черт его знает, еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторз этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют к чертовой матери.

– Какое бюро? – глухо спросил Коротков.

– Ах, да эти претензии или как их там, – с досадой сказал хозяин.

– Как? – крикнул Коротков. – Как? Где оно?

– Там, – изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол.

Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь № 40.

– Ах, черт! – ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через пять минут опять был там же. № 40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидел хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки, с обиженным лицом.

– Извините, что я не попрощался... – начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломлена. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.

– Баба! Баба! – тревожно закричал Коротков. – Где бюро?

– Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, – ответила баба, – да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо – десять этажей.

– У-у... д-дура, – стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он наконец навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз. Шаги послышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг – и показалась блестящая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завывли тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса.

– Постойте, – прохрипел Коротков, – минутку... вы только объясните...

– Спасите! – заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз затылком. Удар не прошел ему даром. Обернувшись в черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволокла коротковский мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение.

– Теперь все понятно, – прошептал Коротков и тихонько рассмеялся, – ага, понял. Вон оно что. Коты! Все понятно. Коты.

Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулками раскатами.

## VIII

### Вторая ночь

В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоиться. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза тов. Короткова рвало в таз.

– Я вот так сделаю, – слабо шептал Коротков, свесив вниз голову, – завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в переулочке или тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды, – ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы – и шабаш...

В отдалении глухо начали бить часы... Бам... бам... «Это у Пеструхиных», – подумал Коротков и стал считать. Десять... одиннадцать... полночь, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать... сорок...

– Сорок раз пробили часики, – горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его опять судорожно и тяжело стошнило церковным вином.

– Крепкое, ох, крепкое вино, – выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.

## IX Машинная жуть

Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на восьмой этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись «Комнаты 302 – 349». Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью «302 – бюро претензий». Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней – смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

– Выйдем в коридор, – резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.

«Боже мой, опять, опять что-то...» – тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашушукали вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

– Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

– Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покоришь меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

– Я отдамся тебе... – шепнуло у самого рта Короткова.

– Мне не надо, – сипло ответил он, – у меня украли документы.

– Так-с, – вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидел люстринового старичка.

– А-ах! – вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

– Хи, – сказал старичок, – здорово. Куда ни придешь, вы, господин Колобков. Ну, и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

– А заявленьце я на вас подам, – злобно продолжал люстрин, – да-с. Растлили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротишь девичьей чести. Не воротишь.

Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

– Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать, господин Колобков? Что ж... – Старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель. – Берите, кушайте. Пушай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пушай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только помните, господин Колобков, – голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами, – не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут, – и старичок разлился в буйных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами.

– К чертовой матери! – тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам. – Я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!

Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

– Следующий! – каркнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернул влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

– Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

– Документы украли, – дико озираясь, ответил растерзанный Коротков, – и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

– Ну, это вздор, – ответил синий, – обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Короче.

Он музыкально звукнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:

– Пожалте, Сергей Николаевич.

И тотчас из ясеневого ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с писком: «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

– Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

– Естественно, вылез, – ответил синий, – не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

– Но как? Как? – зазвенел Коротков.

– Ах ты, господи, – взволновался синий, – не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:

– Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43-м градусом широты и 5-м долготы.

– Ну и чудесно, – ответил блондин, – а то мне надоела эта волынка.

– Я не хочу! – вскричал Коротков, блуждая взором. – Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

– Товарищ, это в отделе брачующихся, – запищал секретарь, – мы ничего не можем сделать.

– О, дурашка! – воскликнула брюнетка, выглянув опять. – Соглашайся! Соглашайся! – кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

– Товарищ! – зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. – Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.

– Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно – Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! – выйдя из себя загремел блондин.

– Рукопожатия отменяются! – кукарекнул секретарь.

– Да здравствуют объятия! – страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.

– Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему, – прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая лапами крылатки... – Я и не вхожу, не вхожу-с, – а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. подпишешь любую – и на скамье подсудимых. – Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Мать заходила в комнате, и окна стали качаться.

– Товарищ блондин, – плакал истомленный Коротков, – застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.

В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчаньем.

– Черт с ним! – загремел блондин. – Черт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Кольша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.

Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

– Надевай! – грохнул блондин в тумане.

– И-и-и-и, – тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

– Валерьянки! – крикнул кто-то на потолке.

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

– Теперь одно спасенье – к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки нежно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая:

– Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть.

## X Страшный Дыркин

Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:

– И чудесно. Вот я вас и арестую.

– Меня нельзя арестовать, – ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом, – потому что я неизвестно кто. Кончено. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду.

Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.

– Арестуй-ка, – пискнул Коротков и показал толстяку дрожащий бледный язык, пахнувший валерьянкой, – как ты арестуешь, ежели вместо документов – фига? Может быть, я Гогенцоллерн.

– Господи Иисусе, – сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.

– Кальсонер не попадался? – отрывисто спросил Коротков и оглянулся. – Отвечай, толстун.

– Никак нет, – ответил толстяк, меняя желтую окраску на серенькую.

– Как же теперь быть? А?

– К Дыркину, не иначе, – пролепетал толстяк, – к нему самое лучшее. Только грозен. Ух, грозен! И не подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.

– Ладно, – ответил Коротков и залихватски сплюнул, – нам теперь все равно. Подымай!

– Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный, – нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.

На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:

– Куда ты? Стой!

– Не бей, дяденька, – сказал толстяк, съжившись и закрыв голову руками, – к самому Дыркину.

– Проходи, – крикнул маленький.

Толстяк зашептал:

– Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко...

Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распротерт голубой вытертый ковер.

Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рявкнул:

– М-молчать!.. – хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.

В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбковыми морщинами.

– А-а! – вскричал он сладко. – Артур Артурыч. Наше вам.

– Слушай, Дыркин, – заговорил юноша металлическим голосом, – ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.

– Я?.. – забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина-добряка. – Я, Артур Диктатурыч... Я, конечно... Вы это напрасно...

– Ах ты, мерзавец, мерзавец, – раздельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.

Коротков машинально охнул и застыл.

– То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела, – внушительно сказал юноша и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.

Минуты две в кабинете стояло молчание и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.

– Вот, молодой человек, – горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин, – вот и награда за усердие. Ночей недосыпаешь, недоедаешь, недопиваешь, а результат всегда один – по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте. Морда у него, видно, казенная. Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите.

И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул», убежал через внутреннюю дверь.

– Ку-ку! – радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюрнбергского разрисованного домика на стене.

– Ку-клуks-клан! – закричала она и превратилась в лысую голову. – Запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: «Лови его, разбойника!» – и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.

## XI

### Парфорсное кино и бездна

С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной, изгрызенной лестнице побежали в таком порядке: первым – черный цилиндр толстяка, за ним – белый исходящий петух, за петухом – канделябр, пролетевший в верхушке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топочущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках.

Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:

– Какая секция проезжает? Несгораемую кассу забыли!

Женский голос внизу ответил:

– Бандиты!!

В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным:

– Артельщиков бьют, товарищи!

По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные, сильные крики: «Держи!». С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:

– Началось!

Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту – одиннадцатизэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу стеклянная вывеска с надписью «Restoran i pivu» треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:

– Здорово! Что же вы, братцы, в кого попало, стало быть?..

Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.

– Садись, дядя. Садись! – проревел он. – Только не бей сироту!

Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.

Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку.

– Деньги покрад, дяденька? – с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.

– Кальсонера... атакуем... – задыхаясь, отвечал Коротков, – да он в наступление перешел...

– Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, – посоветовал мальчишка, – там на крыше отсидишься, если с маузером.

– Давай наверх... – согласился Коротков.

Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:

– Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.

Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку – стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.

Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем «вперед!» вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площадки с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла.словно по сигналу, игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь и выросла вторая голова, за ней – третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части, как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.

Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.

– Сдавайся! – смутно донеслось до него.

Перед Коротковым сразу открылось чудосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи, и жучки-народ, и тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплясавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками.

– Окружили! – ахнул Коротков. – Пожарные.

Перегнувшись через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил и их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекло в проломе бильярдной показали люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетером в руках.

– Сдавайся! – завыло спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый, оглушающий кастрюльный бас.

– Кончено, – слабо прокричал Коротков, – кончено. Бой проигран. Та-та-та! – запел он губами трубный отбой.

Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

– Лучше смерть, чем позор!

Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выско-  
чило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захва-  
тило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перере-  
зало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва,  
взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся  
вверх к узкой щели переуллка, которая оказалась над ним. Затем кровавое солнце со звоном  
лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.

## Москва краснокаменная

### 1

#### Улица

Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к храму Христа.

Хорошо у храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.

За храмом, там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.

Гуляй – не хочу.

Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки – «Ява» рассыпная!» – скатывались со снежной горы на салазках и в пробегавшую «Аннушку» швыряли комьями. А летом плиты у храма, ступени у пьедестала пусты. Молчат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе – паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходило. Горбы за собой на салазках таскали. А теперь – довольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы – вали в магазин.

У другой – нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску. А на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше – золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли – во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в ХМУ, не то в ЦУСе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эм-пе-о (в легендарные времена назывался Елисейев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища:

– Э... э... два фунта...

Приказчик в белом фартуке:

– Слуш...с-с...

И цирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее.

– В кассу прошу...

Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спечовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сту.

Одна настоящая, с водяными знаками, другая, тоже с водяными знаками, – фальшивая.

В Эм-пе-о – елисейевских зеркальных стеклах – все новые покупатели. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснится в банках. Сиги копченые. Пирамиды яблок, апельсинов. К окну какой-то самоистязатель носом прилип, выкатил глаза на люстры– гроздь, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18 по 22 год!

А мимо, по избитым торцам, – велосипедист за велосипедистом. Мотоциклы. Авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На «автоконьяке» ездят. В автомобиль его нальешь, пустишь – за автомобилем сизо-голубой удушливый дым столбом.

Летят общипанные, ободранные, развинченные машины. То с портфелями едут, то в шлемах краснозвездных, а то вдруг подпрыгнет на кожаных подушках дама в палантине, в стомиллионной шляпе с Кузнецкого. А рядом, конечно, выгоревший околыш. Нувориш. Нэпман.

Иногда мелькнет бесшумная, сияющая лаком машина. В ней джентльмен иностранного фасона. АРА.

Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они такие, как были в 1822 г., и такие, как будут в 2022-м, если к тому времени не вымрут лошади. С теми, кто торгуется, наглы, с «лимонными» людьми – угодливы:

– Вас возил, господин!

Обыкновенная совпублика – пестрая, многоликая масса, что носит у московских кондукторш название: граждане (ударение на втором слоге), – ездит в трамваях.

Бог их знает, откуда они берутся, кто их чинит, но их становится все больше и больше. На 14 маршрутах уже скрежещет в Москве. Большею частью – ни стать, ни сесть, ни лечь. Бывает, впрочем, и просторно. Вон «Аннушка» заворачивает под часы у Пречистенских ворот. Внутри кондуктор, кондукторша и трое пассажиров. Трое ожидающих сперва машинально становятся в хвост. Но вдруг хвост рассыпался. Лица становятся озабоченными. Локтями начинают толкать друг друга. Один хватается за левую ручку, другой одновременно за правую. Не входят, а «лезут». Штурмуют пустой вагон. Зачем? Что такое? Явление это уже изучено. Атавизм. Память о тех временах, когда не стояли, а висели. Когда ездили мешки с людьми. Теперь подите повисните! Попробуйте с пятипудовым мешком у Ярославского вокзала сунуться в вагон.

– Граждáне, нельзя с вещами.

– Да что вы... маленький узелочек...

– Гражданин! Нельзя!!! Как вы понятия не имеете!!

Звонок. Стоп. Выметайтесь.

И:

– Граждáне, получайте билеты. Граждáне, продвигайтесь вперед.

Граждане продвигаются, граждане получают. Во что попало одеты граждане. Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей – омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки. Куртки кожаные. На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадает уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях.

Катит пестрый маскарад в трамвае. На трамвайных остановках гвалт, гомон. Чревовещательные сильные альты поют:

– Сиводнишняя «Известия-а»... Патриарха Тихxxx-а-а-ана... Эсеры... «Накану-у-не»... Из Бирлина только што па-а-алучена...

Несется трамвай среди говора, гомона, гудков. В Центр.

Летит мимо Московской улицы. Вывеска на вывеске. В аршин. В сажень. Свежая краска бьет в глаза. И чего-чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятей. Цупвоз. Цустран. Моссельпром. Отгадывание мыслей. Мосдревотдел. Виноторг. Старо-Рыковский трактир. Воскрес трактир, но твердый знак потерял. Трактир «Спорт». Театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. Производство «сандаль». Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и «мальчишковая». Врывсельпромгвиу. Униторг, Мосторг и Главлесторг. Центробумтрест.

И в пестром месиве слов, букв на черном фоне белая фигура – скелет руки к небу тянет. Помогите! *Г о л о д*. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотрись, представишь себе, и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо стен, не оглядываются...

До поздней ночи улица шумит. Мальчишки – красные купцы – торгуют. К двум ползут стрелки на огненных круглых часах, а Тверская все дышит, ворочается, выкрикивает. Взвиз-

гивают скрипки в кафе «Куку». Но все тише, реже. Гаснут окна в переулках... Спит Москва после пестрого будня перед красным праздником...

...Ночью спец, укладываясь, Неизвестному Богу молится:

– Ну что тебе стоит? Пошли назавтра ливень. С градом. Ведь идет же где-то град в два фунта. Хоть в полтора.

И мечтает:

– Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как ахнет...

И дождик идет, и порядочный. Из перержавевших водосточных труб хлещет. Но идет-то он в несуразное, никому не нужное время – ночью. А наутро на небе ни пылинки!

И баба бабе у ворот говорит:

– На небе-то, видно, за большевиков стоят...

– Видно, так, милая...

В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми клапанами на груди, с красными шевронами, в шлемах, один к одному, под лязг тарелок, под рев труб рота за ротой идет красная пехота.

С двухцветными эскадронными значками – разномастная кавалерия на рысях. Броневики лезут.

Вечером на бульварах толчея. Александр Сергеевич Пушкин, наклонив голову, внимательно смотрит на гудящий у его ног Тверской бульвар. О чем он думает – никому не известно... Ночью транспаранты горят. Звезды...

...И опять засыпает Москва. На огненных часах три. В тишине по всей Москве каждую четверть часа разносится таинственный нежный перезвон со старой башни, у подножия которой, не угасая всю ночь, горит лампа и стоит бессонный часовой. Каждую четверть часа несетя с кремлевских стен перезвон. И спит перед новым буднем улица в невиданном, неслыханном красноторговом Китай-городе.

## № 13. – Дом Эльпит-Рабкоммуна

### Рассказ

Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерно клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит...

Однажды, например, в десять вечера стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.

В квартире № 3 генерала от кавалерии Де-Баррейн он до трех гостил.

До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон Венгерской рапсодии, *cariccioso*, – то цыганские буйные взрывы:

Сегодня пьем! Завтра пьем!  
Пьем мы всю неде-е-лю эх!  
Раз... еще раз...

До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух: Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у Де-Баррейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.

Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.

А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли, каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шиншилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком... Да что говорить. Был дом... Большие люди – большая жизнь.

В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувырчался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов... Ковры... В кабинетах беззвучно торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то больными, не то уголовными, глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще... И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортam...

Большое было время...

И ничего не стало. *Sic transit gloria mundi!*<sup>2</sup>

Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, господи?... Генерал от кавалерии!.. Слово какое!

Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.

Эльпит сам ушел в чем был.

Вот тогда у ворот рядом с фонарем (огненный «№ 13») прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали:

– Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!

В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...

Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуну топили.

Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался... Христи.

Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывели на двери Де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуны не простоит и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой – «смотритель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах.

И вот Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около 1/10 того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатках на другом конце Москвы.

– Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! – страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. – Но лишь бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!

Христи верил, кивал стриженной седеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.

А главное – топить. И вот добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12°, 12°! Если там, откуда получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпит. У него горели глаза.

– Ну, хорошо... Я заплачу. Дайте обоим и секретарю. Что? Перестать? О, нет, нет! Ни на минуту...

Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил.

– Нилушкина Егора туда вселить...

– Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.

В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но... Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней.

---

<sup>2</sup> Все проходит (*лат.*).

И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет... Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:

– А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.

И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:

– Мань! А Ма-ань! Где ты?

Опять к монтеру ходили:

– Сво-о-лочь ты! Пяндрыга. Христи пожалуемся.

И от одного имени Христи свет волшебным образом загорался.

Да-с, Христи был человек.

Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:

– Которые тут гадют, всех в 24 часа!

И с уличенных брал дань.

И вот жили, жили, ан в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:

– Дадим через неделю.

Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:

– Ой... Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?

И тут действительно можно было видеть, что у Христи тоскливые стали замученные глаза. У стального Христи.

Эльпит страстно ответил:

– Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом, к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани – печки! Эта вентиляция... Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю? Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Иванычу.

В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил:

– Ну, что ж... Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек...

И правление соглашалось.

– Конечно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго ли до беды.

И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржук, не вывели бы труб в отверстия, что предательски приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.

И Нилушкин Егор ходил:

– Ежели мне которые... Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.

На шестой день попытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка, простоволосая кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:

– Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают – самогон лакают. А как обзаводиться топить – их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нету, не позволять! Косой черт! (Это про Христи!) Ему одно: как бы дом не закоптить... Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни!..

И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:

– Ах, зануда баба... Ну и зануда ж!  
Но все же оборачивался и гулко отстреливался:  
– Я те затоплю! В двадцать четыре...

Сверху:

– Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить рабочего человека!

Не осуждайте. Пытка – мороз. Озверевает всякий ... .. В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, комн. 5, стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.

– Ах, тяга хороша! – восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие, – замечательная тяга! Вот псы, прости господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито и крыто.

И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть... А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком... Да на чердак.  
.....

Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской... Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску...

– Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товарищи!! – Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели – змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники святители! Во-ой! Двери забили, как пулеметы, вперебой... – Барышня! Ох, барышня!! Один – ох – двадцать два... восемнадцать. 18... Краснопресненскую даешь!..

...Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала.

– По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!

Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золото-красных шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли, как удавы. В бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте Городская, с искрами, с огнями, с касками...

Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!

...Еще много, много раз...

А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не сарггиссио, а страшно – brioso. Сретенская с переулка – да-е-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской – салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной, как траурные плащи-бабочки, полетели железные листы.

Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49-м номере бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И, взыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь! 1-22-31!! Кровавую лепешку лечить! Угодники божи! Ванюшка сторел. Ванюшка!! Где папанька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт бух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса – черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в бога!

Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило и третьему перебило позвоночный столб.

С самоваром в одной руке, в другой – тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В одних рубахах. Визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. Осади!! Потолок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.

И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные, – бенц! Бенц!

Трубки в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что – резерв! Уже к среднему на десять саженей не подходи! Глаза лопнут...

.....

В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь, туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел.

Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:

– Ну, что уж больше... Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем.

Но Христи еще раз качнул головой:

– Поезжайте... Я сейчас.

Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь...

...На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.

То шептала чепуху какую-то:

– Засудят... Засудят, головушка горькая...

То всхлипывала.

Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порохом снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжественно разливалось по небу... так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.

Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слезы высохли.

Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так: «Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков...»

Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась, только все по лицу размазывала сажу, носом шмыгала.

А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез.

И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 – дом Эльпит-Рабкоммуна.

## Чаша жизни (*Веселый московский рассказ с печальным концом*)

Истинно, как перед богом, скажу вам, гражданин, пропадаю через проклятого Пал Васильича... Соблазнил меня чашей жизни, а сам предал, подлец!..

Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо-мирно дома и калькуляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится – калькуляцией, а на самом деле жалования – 210. Пятьдесят в кармане. Ну и считаешь: 10 дней до первого. Это сколько же? Выходит пятерка в день. Правильно. Можно дотянуть? Можно, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается дверь, и входит Пал Васильич. Я вам доложу: доха на нем – не доха, шапка – не шапка! Вот сволочь, думаю! Лицо красное, и слышу я – портвейном от него пахнет. И ползет за ним какой-то, тоже одет хорошо.

Пал Васильич сейчас же знакомит:

– Познакомьтесь, – говорит, – наш, тоже трестовый.

И как шваркнет шапку эту об стол, и кричит:

– Переутомился я, друзья! Заела меня работа! Хочу я отдохнуть, провести вечер в вашем кругу! Молю я, друзья, давайте будем пить чашу жизни! Едем! Едем!

Ну, деньги у меня какие? Я ж докладываю: пятьдесят. А человек я деликатный, на дурничку не привык. А на пятьдесят-то что сделаешь? Да и последние!

Я и отвечаю:

– Денег у меня...

Он как глянет на меня.

– Свинья ты, – кричит, – обижаешь друга?!

Ну, думаю, раз так... И пошли мы.

И только вышли, начались у нас чудеса! Дворник тротуар скребет. А Пал Васильич подлетел к нему, хватъ у него скребок из рук и начал сам скрести.

При этом кричит:

– Я интеллигентный пролетарий! Не гнушаюсь работой!

И прохожему товарищу по калоше – чик! И разрезал ее. Дворник к Пал Васильичу и скребок у него из рук выхватил. А Пал Васильич как заорет:

– Товарищи! Караул! Меня, ответственного работника, избивают!!

Конечно, скандал. Публика собралась. Вижу я – дело плохо. Подхватили мы с трестовым его под руки и в первую дверь. Ан на двери написано: «...и подача вин». Товарищ за нами, калоша в руках.

– Позвольте деньги за калошу.

И что ж вы думаете? Расстегнул Пал Васильич бумажник, и как заглянул я в него – ужаснулся! Одни сотенные. Пачка пальца в четыре толщины. Боже ты мой, думаю. А Пал Васильич отслюнил две бумажки и презрительно товарищу:

– П-палучите, т-товарищ.

И при этом в нос засмеялся, как актер:

– А-ха-ха.

Тот, конечно, смылся. Калошам-то красная цена сегодня была полтинник. Ну, завтра, думаю, за шестьдесят купит.

Прекрасно. Уселись мы, и пошло. Портвейн московский, знаете? Человек от него не пьянеет, а так, лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Пал Васильич какую-то даму обнял и трое-

кратно поцеловал: в правую щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, а дама так осталась в оцепенении. Пушкин стоит, на даму смотрит, а дама на Пушкина.

И тут же налетели с букетами, и Пал Васильич купил букет и растоптал его ногами.

И слышу голос сдавленный из горла:

– Я вас? К-катаю?

Сели мы. Оборачивается к нам и спрашивает:

– Куда, ваше сиятельство, прикажете?

Это Пал Васильич! Сиятельство! Вот сволочь, думаю!

А Пал Васильич доху распахнул и отвечает:

– Куда хочешь!

Тот в момент рулем крутанул, и полетели мы как вихрь. И через пять минут – стоп на Неглинном. И тут этот рожком три раза хрюкнул, как свинья:

– Хрр... Хрю... Хрю.

И что же вы думаете! На это самое «хрю» – лакеи! Выскочили из двери и под руки нас.

И метрдотель, как какой-нибудь граф:

– Сто-лик.

Скрипки:

Под знойным небом Аргентины...

И какой-то человек в шапке и в пальто и вся половина в снегу, между столиками танцует. Тут стал уже Пал Васильич не красный, а какой-то пятнистый и грянул:

– Долой портвейны эти! Желая пить шампанское!

Лакеи врасыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор:

– Могу рекомендовать марку...

И залетали вокруг нас пробки, как бабочки.

Пал Васильич меня обнял и кричит:

– Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоём Центросоюзе. Устраиваю тебя к нам в трест. У нас теперь сокращение штатов, стало быть, вакансии есть. А в тресте я царь и бог!

А трестовый его приятель гаркнул: «Верно!» – и от восторга бокал об пол и вдребезги.

Что тут с Пал Васильичем сделалось!

– Что, – кричит, – ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил – и счастлив? А-ха-ха. Гляди!!

И с этими словами вазу на ножке об пол – раз! А трестовый приятель – бокал! А Пал Васильич – судок! А трестовый – бокал!

Очнулся я, только когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман – *один миллиард* девятьсот двенадцать миллионов. Да-с.

Помню я, слюнил Пал Васильич бумажки и вдруг вытаскивает пять сотенных и мне:

– Друг! Бери займы! Прозябаешь ты в своём Центросоюзе! Бери пятьсот! Поступишь к нам в трест и сам будешь иметь!

Не выдержал я, гражданин. И взял я у этого подлеца пятьсот. Судите сами: ведь все равно пропъет, каналья. Деньги у них в трестах легкие. И вот, верите ли, как взял я эти проклятые пятьсот, так вдруг и сжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально и вижу сквозь пелену – сидит в углу какой-то человек и стоит перед ним бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Словно, знаете ли, невидимые глаза у него – вторая пара на щеке.

И так мне стало как-то вдруг тошно, выразить вам не могу!

– Гоп, ца, дрица, гоп, ца, ца!!

И кэк воком к двери. А лакеи впереди понесли и салфетками машут!

И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опять шофер и будто ехал я стоя. А куда – неизвестно. Начисто память отшибло...

И просыпаюсь я дома! Половина третьего.

И голова – боже ты мой! – поднять не могу! Кой-как припомнил, что это было вчера, и первым делом за карман – хватать. Тут они – пятьсот! Ну, думаю, – здорово! И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как это я в тресте буду служить. Отлежался, чаю выпил, и полегчало немного в голове. И рано я вечером заснул.

И вот ночью звонок...

А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова. И через дверь, босиком, спрашиваю: – Тетя, вы?

И из-за двери голос незнакомый:

– Да. Откройте.

Открыл я – и оцепенел...

– Позвольте... – говорю, а голоса нету, – узнать, за что же?..

Ах, подлец!! Что ж оказывается? На допросе у следователя Пал Васильич (его еще утром взяли) и показал:

– А пятьсот из них я передал гражданину такому-то. – Это мне, стало быть!

Хотел было я крикнуть: ничего подобного!!

И, знаете ли, глянул этому, который с портфелем, в глаза... И вспомнил! Батюшки, сельтерская! Он! Глаза-то, что на щеке были, у него во лбу!

Замер я... не помню уж как, вынул пятьсот... Тот хладнокровно другому:

– Приобщите к делу.

И мне:

– Потрудитесь одеться.

Боже мой! Боже мой! И уж как подъезжали мы, вижу я сквозь слезы, лампочка горит над надписью «Комендатура». Тут и осмелился я спросить:

– Что ж такое он, подлец, сделал, что я должен из-за него свободы лишиться?..

А этот сквозь зубы и насмешливо:

– О, пустяки. Да и не касается это вас.

А что не касается! Потом узнаю: его чуть ли не по семи статьям... тут и дача взятки, и взятие, и небрежное хранение, а самое-то главное – растра-та! Вот оно какие пустяки, оказывается! Это он, негодяй, стало быть, последний вечер доживал тогда – чашу жизни пил! Ну-с, коротко говоря, выпустили меня через две недели. Кинулся я к себе в отдел. И чувствовало мое сердце: сидит за моим столом какой-то новый во френче, с пробором.

– Сокращение штатов. И кроме того, что было... Даже странно...

И задом повернулся и к телефону.

Помертвел я... получил ликвидационные... за две недели вперед 105 и вышел.

И вот с тех пор без перерыва хожу... и хожу. И ежели еще неделька так, думаю, что я на себя руки наложу!..

## Сорок сороков

*Решительно скажу: едва  
Другая същется столица как Москва.*

### Панорама первая. Голые времена

Панорама первая была в густой тьме, потому что въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921 года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва – мать, Москва – родной город. Итак, первая панорама: глыба мрака и три огня.

Затем Москва показалась при дневном освещении, сперва в слезливом осеннем тумане, в последующие дни в жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. Драп, драп. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз.

Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный – рожденный ползать, – и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие «чижиков», трудгужналог и т. под. напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской!

К героям нечего было и идти. Герои были сами голы, как соколы, и питались какими-то инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде аметистов.

Я оказался как раз посредине обеих групп, и совершенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет с надписью – смерть. Увидев его, я словно проснулся. Я развил энергию, неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то что удары сыпались на меня градом, и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня, при первом же взгляде на мой костюм, в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то, во всяком случае, его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смею вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокоротной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я – закален.

Закаленный, с удостоверениями в кармане, в драповой дерюге, я шел по Москве и видел панораму. Окна были в пыли. Они были заколочены. Но кое-где уже торговали пирожками. На углах обязательно помещалась вывеска «Распределитель N...». Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и сипло бормотала:

– Заперто, заперто, и никого, товарищ, нетути!

И после этого провалилась в какой-то люк.

Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена.

## Панорама вторая. Сверху вниз

На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка – верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло подымается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, подымался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко, до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.

– Москва звучит, кажется, – неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.

– Это – нэп, – ответил мой спутник, придерживая шляпу.

– Брось ты это чертово слово! – ответил я. – Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.

На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не «получил» ботинки, а «купил» их; они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два.

Внизу было занято и страшно. Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.

И, спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.

Внизу меня ждала радость, ибо нет нэпа без добра: баб с дырами на темени выкинули всех до единой. Паутина исчезла, в окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки.

Это был апрель 1922 года.

## Панорама третья. На полный ход

В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и, глухо, впереводку, с бульвара неслись звуки оркестров.

На вышке трепетал свет. Гудел аппарат – на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймляющей верхнюю, при набевшем иногда ветре шлептели белые салфетки на столах и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Нэпманы влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди нэпманских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке, с партнершей – девицей в сарафане, – пел частушки:

У Чичерина в Москве  
Нотное издательство!

Пианино рассыпалось каскадами.

– Бра-во! – кричали нэпманы, звеня стаканами, – бис!

Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног девица семеня к столу с фужером, полным цветов.

– Бис! – кричал нэпман, потоптал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок. За неимением места в фужерах на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось ее желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Нэпман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, всунулся в стеклянную дыру и четко бросил:

– Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два бифштекса.

С эстрады грянул и затоптал лихой, веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем.

Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом – в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирензеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него.

На Тверской звенели трамваи, и мостовая была извороченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву чинили и днем и ночью.

Это был душный июль 1922 года.

## Панорама четвертая. Сейчас

Иногда кажется, что Больших театров в Москве два. Один такой: в сумерки на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронте бледнеет. Зеленая квадрига чернеет, очертания ее расплываются в сумерках. Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протягиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шинелей, в шлемах, с винтовками, с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах. Окна светятся. В Большом идет съезд.

Другой – такой: в излюбленный час театральной музыки, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто-тускловатые пятна света. Приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах, в свете, золотым и красным сияет театр и кажется таким же нарядным, как раньше.

В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бенуара причесанные парикмахером женские головы. Штатские сидят, заложив ножку на ножку, и, как загипнотизированные, смотрят на кончики своих лакированных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин антрактового действия нарушает только одна нэпманша. Перегнувшись через барьеры ложи в бельэтаже, она взволнованно кричит через весь партер, сложа руки рупором:

– Дора! Пробирайся сюда! Митя и Соня у нас в ложе!

Днем стоит Большой театр желтый и грузный, облупившийся, потертый. Трамваи огибают Малый, идут к нему. «Мюр и Мерилиз», лишь начнет темнеть, показывает в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами: «Государственный универсальный магазин». В центре щита лампа загорается вечером. Над Незлобинским театром две огненные строчки, то гаснут, то вспыхивают: «Сегодня банкноты 251». В Столешниковом на экране корявые строчки: «Почему мы советуем покупать ботинки только в...» На Страстной площади на крыше экран – объявления, то цветные, то черные, вспыхивают и погасают. Там же, но на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспыхнет и потемнеет «Реклама».

Все больше и больше этих зыбких, цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва заливается огнями с каждым днем все сильней. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение а giorno<sup>3</sup>. До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО.

Москва спит теперь, и ночью не гася всех огненных глаз.

С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхивая цепями, ползут по разьеженному, рыхлому, бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова, под старой зубчатой стеной они один за другим валят под уклон вниз к «Метрополю». Мутные стекла в первом этаже «Метрополя» просветлели, словно с них бельма сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом светится шар Госкино-II. Напротив через сквер неожиданно воскрес Тестов и высунул в подъезде карточку: «Крестьянский суп». В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но Параскева Пятница глядит печально и тускло. Говорят, что ее снесут. Это жаль.

<sup>3</sup> яркое (фр.).

Сколько видал этот узкий проход между окнами с мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы.

Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли.

Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения, полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно: в ГУМе лишь три выхода. Другое дело у Ильинских ворот – сквер, простор, далеко видно... Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре, в дыму, в грохоте, рвутся с лязгом звуки «натуральной» польки:

Пойдем, пойдем, ангел милый,  
Польку танцевать с тобой.  
С-с-с-слышу, с-с-слышу с-с-сл...  
...Польки звуки неземной!!

Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламы на полотнищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дыбом» с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет...

И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Еще басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К Воробьевым горам уже провели ветку, там роют, возят доски, там скрипят тачки – готовят Всероссийскую выставку.

И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной букинистскими книгами, я мечтаю, как летом взлезу на Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва – мать.

## Под стеклянным небом

Жулябия в серых полосатых брюках и шапке, обитой вытертым мехом, с небольшим мешочком в руках. Физиономия словно пчелами искусанная, и между толстыми губами жеваная папироска.

Мимо блестящего швейцара просунулась фигурка. В серой шинели и в фуражке с треснувшим пополам козырьком. На лице беспокойство, растерянность. Самогонный нос. Несомненно, курьер из какого-нибудь учреждения. Жулябия, метнув глазами, зашаркала резиновыми галошами и подсунулась к курьеру.

– Что продаешь?

– Облигацию... – ответил курьер и разжал кулак. Из него выглянула сизая облигация.

– Почему? – Жулябины глаза ввинтились в облигацию.

– Сто десять бы... – квакнул, заикнувшись, курьер. Боевые искры сверкнули в глазах на распухшем лице.

– Симпатичное лицо у тебя, вот что я тебе скажу, – заговорила жулябия, – за лицо тебе предлагаю: девяносто рубликов. Желаете? Другому бы не дала. Но ты мне понравился.

У курьера рот от изумления стал круглым под мочальными усами. Он машинально повернулся к зеркальному окну магазина, ища в нем своего отражения. Веселые огни заиграли в жулябиных глазах. Курьер отразился в зеркале во всем очаровании своего симпатичного лица под перебитым козырьком.

– По рукам? – стремительно произвела второй натиск жулябия.

– Да как же... Господи, ведь давали-то нам по 125...

– Чудак! Давали! Дать и я тебе дам за 125. Хоть сию минуту. Ты, брат, не забывай, что давать – это одно, а брать – совсем другое.

– Да ведь они в мае 200 будут...

– Это резонно! – победно рявкнула жулябия, – так вот даю тебе совет: держи ее до мая!

И тут жулябия круто вильнула на 180° и сделала вид, что уходит. Но на курьера уже наплывали двое новых ловцов. Бронзовый лик юго-восточного человека и расплывчатый бритый московский блин. Поэтому жулябия круто сыграла назад.

– Вот последнее мое слово. Чтобы не ходил ты тут и не страдал, даю тебе еще два рублика. Мой трамвай. Исключительно потому, что ты – хороший человек.

– Давайте! – пискнул в каком-то отчаянии курьер и двинул фуражку на затылок.

\* \* \*

В бесконечных продолговатых стеклянных крышах торговых рядов – бледный весенний свет. На балконе над фонтаном медный оркестр играет то нудные вальсы, то какую-то музыкальную гнусность – «попурри из русских песен», от которой вянут уши.

Вокруг фонтана непрерывное шарканье и шелест. Ни выкриков, ни громкого говора. Но то и дело проходящие фигуры начинают бормотать:

– Куплю доллары, продам доллары.

– Куплю займ, банкноты куплю.

И чаще всего, таинственнее, настороженнее:

– Куплю золото. Продам золото...

– Золото... золото... золото... золото...

Золота не видно, золота не слышно, но золото чувствуется в воздухе. Незримое золото где-то тут бьется в крови.

Выныривает в куцей куртке валютчик и начинает волчьим шагом уходить по проходу вбок от фонтана. За ним тащится другая фигура. В укромном пустом углу у дверей, ведущих к памятнику Минина и Пожарского, остановка.

Из недр куцега пальто словно волшебством выскакивает золотой диск. Вот оно, золото.

Фигура вертит в руках, озираясь, золотушку с царским портретом.

– А она, тово... хорошая?

Куцее пальто презрительно фыркает:

– Здесь не Сухаревка. Я их сам не делаю.

Фигура боязливо озирается, наклоняется и легонько бросает монетку на пол. Мгновенный, ясный золотой звон. Золото! Монетка исчезает в кармане пальто. Куцее пальто мнет и пересчитывает дензнаки. Быстро расходятся. И снова непрерывное кружение у фонтана. И шепот, шепот... Золото... золо... зо...

\* \* \*

Один из коридоров рядов загорожен. У загородки сидит загадочно улыбающийся гражданин с билетной книжкой в руках. Угодно идти совершать операции на бирже, пожалуйста билет за 40 лимонов.

Вне огороженного пространства операции не поощряются ни в коей мере. Но ведь нельзя же людям запретить гулять в рядах возле фонтана! А если люди бормочут, словно во сне? Опять-таки никакого криминала в этом обнаружить нельзя. Идет гражданин и шепчет, даже ни к кому не обращаясь:

– Куплю мелкое серебро... куплю мелкое серебро...

Мало ли оригиналов!..

Среди сомнамбулических джентльменов появляются дамы салопного вида с тревожными глазами. Жены чиновников – случайные валютчицы. Или пришли продать золотушки, что на черный день хранились в штопаных носках в комод, или, обуреваемые жадностью, пришли купить одну-две монеты. Нажужжали знакомые в уши, что десятка растет, растет... растет... Золото... золото...

– Золото, Марь Иванна, надо купить. Это дело верное.

Марь Иванна жмет в темный угол в рядах. Марь Иванна звякнет монеткой об пол.

– А она не обтертая?

– Вы, мадам... – обижается валютчик, – довольно странно с вашей стороны, мадам!

– Ну, ну, вы не обижайтесь! Да вот царь тут какой-то странный. Выражение лица у него...

– Я, мадам, ему выражения лица не делал. Обыкновенное выражение.

Марь Иванна торопливо вытаскивает из сумочки скомканные бумажки. Монетка исчезает на дне сумочки.

В толпе профессионалов мелькают случайные фуражки с вытертыми околышами. Все по тому же случайному золотому делу. Мелькают подкрашенные и бледные ночные бабочки-женщины. Обыкновенные прохожие, что сквозным током идут через галереи с Николаевской на Ильинку, покупатели в бесчисленные магазины ГУМа в рядах. Они смешиваются, сталкиваются, растворяются в гуще валютчиков, вертящихся у фонтана и в галереях. Среди них профессионалы всех типов и видов. Московские в шапках с наушниками с мрачной думой в глазах, с неряшливыми небритыми лицами, темные восточные, западные и южные люди. Вытертые, ветром подбитые пальто и дорогие брововые воротники. Сухаревские ботинки-лепешки и изящная лаковая обувь. Седые и безусые. Наглые и вежливые. Медлительные и неуловимые, как ртуть. Профессионалы. Ничем не занимаются, ничем не интересуются, кроме золота, золота, золота. Часами бродят у фонтана. Выглядывают, высматривают, выклеивают.

\* \* \*

В пять часов дня. Когда в куполах еще полный серо-матовый, дневной, весенний, стеклянный свет, в галереях светло, гулко. В окнах магазинов горят лампы. На углу у фонтана в витринах играют золотые искры на портсигарах, кубках, подстаканниках, на камнях-самоцветах. Из кафе пахнет жареным. Лотереи-аллегри с полубутылочками кислого вина и миниатюрными коробками конфет бойко торгуют.

Но вот сверлит свисток. Конец черной бирже на сегодняшний день. Из-за загородки сыпят биржевики. Конец и фонтанной чернейшей бирже, что торгует шепотом и озираясь. Еще шелестит торопливо:

– Золото... золото.

Еще ловят быстрыми взглядами покупателей. Десятка прыгнула на 15 лимонов вверх. Но уже редет толпа. Расползаются к выходам черные шубы, серые пальто. Пустеют коридоры. Звонко стучат шаги. Ближе весенний вечер, и в стеклянном продолговатом, мелко переплетенном небе нежно и медленно разливается вечерняя заря.

## Московские сцены

### На передовых позициях

– Ну-с, господа, прошу вас, – любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол.

Мы, не заставив себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки.

Село нас четверо: хозяин – бывший присяжный поверенный, кузен его – бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в Совнархозе, а ныне просто Зинаида Ивановна, и гость – я – бывший... впрочем, это все равно... ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными.

Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках.

– Вот и весна, слава богу; измучились с этой зимой, – сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.

– И не говорите! – воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, вмиг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: – Ваше здоровье!

И затем мы глотнули.

– Не слабо ли... кхм... разбавил? – заботливо осведомился хозяин.

– Самый раз, – ответил я, переводя дух.

– Немножко как будто слабовато, – отозвалась Зинаида Ивановна.

Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом.

После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри и благодущие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна и борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой, – такова. Хозяин мой – один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее – шутка серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире не кое-как, кустарным способом, а основательно. Первым долгом он призвал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые черные трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал:

– Могут не топить парового, бандиты, – и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной (из передней направо) и поставил ему черную печечку. Затем пятнадцать пудов муки он всунул в библиотеку (прямо по коридору), запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к коврику приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие-то старые газеты, и библиотека словно сгинула – сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом, из шести комнат осталось три. В одной он поселился сам, с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися двумя комнатами (гостиная и кабинет) снял двери, превратив их в странное двойное помещение.

Это не была одна комната, потому что их было две, но и жить в них как в двух было невозможно, тем более что в первой (гостиной) непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей:

– Тут будут приходить эти. Так скажешь, что спишь здесь.

Саша заговорщически усмехнулась и ответила:

– Хорошо, барин.

Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему, юрисконсульту такого-то учреждения, полагается «добавочная площадь». На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин и стульев с гвоздями и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит после приведения квартиры в боевой вид разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту.

На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна – учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в Совнархозе, на двери кухни, что тот секретарь. Двери он стал отворять сам после 3-го звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино.

Три года люди в серых шинелях и черных пальто, объединенных молью, и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили.

Тогда же он и купил четыре портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кухни над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Л. Троцкого. Троцкий был изображен анфас в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками в фотографию, мне показалось, что председатель реввоенсовета нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Либкнехта и направился в комнату кухни. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала:

– Эт-того недоставало! Пока я жива, Александр Палыч, никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет!

– Зин... при чем здесь Мара... – начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив.

Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери хозяин, накинув вместо пиджака измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном, с рыжим портфелем.

– У вас тут комнаты... – начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричества, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и олени рога расплылись во мгле.

– Что вы, товарищи!! – ахнул хозяин и всплеснул руками, – какие тут комнаты?! Верите ли, шесть комиссий до вас было на этой неделе. Хоть и не смотрите! Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть, – хозяин вытащил из кармана бумажку, – мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13 ½. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 2 ½ аршина?

– Ну, мы посмотрим, – мрачно сказал второй серый.

– П-пожалуйста, товарищи!..

И тотчас перед нами предстал А. В. Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.

– Тут кто? – спросил первый серый, указывая на кровать.

– Товарищ Епишина, Александра Ивановна.

– Она кто?

– Техническая работница, – сладко улыбаясь, ответил хозяин, – стиркой занимается.

– А не прислуга она у вас? – подозрительно спросил черный.

В ответ хозяин судорожно засмеялся:

– Да что вы, товарищ! Что я, буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать! Тут на еду не хватает, а вы: «прислуга»! Хи-хи!

– Тут? – лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет.

– Добавочная, 13 ½, под конторой моего учреждения, – скороговоркой ответил хозяин.

Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз, и я слышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь.

– Вот видите, товарищи, – зловеще сказал хозяин, – я предупреждал: чертова теснота.

Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.

– Не ушиблись ли вы? – испуганно спросил хозяин.

– А... бу... бу... ту... ту... ма... – невнятно пробурчал что-то черный.

– Тут товарищ Настурцина, – водил и показывал хозяин, – тут я, – и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех. – А тут товарищ Щербовский, – и торжественно он махнул рукой на Л. Д. Троцкого.

Трое в ужасе глядели на портрет.

– Да он что, партийный, что ли? – спросил второй серый.

– Он не партийный, – сладко ухмыльнулся хозяин, – но он сочувствующий. Коммунист в душе. Как и я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи.

– Ответственные, сочувствующие, – хмуро забубнил черный, потирая колено, – а шкафы зеркальные. Предметы роскоши.

– Рос-ко-ши?! – укоризненно ахнул хозяин, – что вы, товарищ!! Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости. – Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как раз вчера шесть серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками.

– Белье, товарищи, – предмет чистоты. И наши дорогие вожди, – хозяин обеими руками указал на портреты, – все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания... тиф, чума и холера, все оттого, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя в чистоте. Наш вождь...

Тут мне совершенно явственно показалось, что судорога прошла по лицу фотографического Троцкого и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь:

– Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но, конечно, испорченная, видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь, вот кухня – холодная. Не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь, в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все! Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе колени разбивать эт-то, знаете ли, слишком накладно. Куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме? Под контору.

– Идем, Степан, – безнадежно махнув рукой, сказал первый серый, и все трое направились, стуча сапогами, в переднюю.

Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.

– Вот, любуйтесь, – вскричал он, – и это каждый божий день! Честное вам даю слово, что они меня доконают.

– Ну, знаете ли, – ответил я, – это неизвестно, кто кого доконает!

– Хи-хи! – хихикнул хозяин и весело грянул: – Саша! Давай самовар!..

Такова была история портретов, и в частности Маркса. Но возвращаюсь к рассказу.

...После супа мы съели бефстроганов, выпили по стаканчику белого «Айданиля» винделправления, и Саша внесла кофе.

И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок.

– Маргарита Михална, наверно, – приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет.

– Да... да... – послышалось из кабинета, но через три мгновения донесся вопль: – Как?

Глухо заквакала трубка, и опять вопль:

– Владимир Иванович! Я же просил! Все служащие! Как же так?!

– А-а! – ахнула кузина, – уж не обложили ли его?!

Загремела с размаху трубка, и хозяин появился в дверях.

– Обложили? – крикнула кузина.

– Поздравляю, – бешено ответил хозяин, – обложили вас, дорогая!

– Как?! – кузина встала, вся в пятнах, – они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!

– «Говорила», «говорила»! – передразнил хозяин, – не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец домовой в списке пишет! А все ты, – повернулся он к кузену, – просил ведь, сходи, сходи! А теперь не угодно ли: он нас всех трех пометил!

– Дурак ты, – ответил кузен, наливаясь кровью, – при чем здесь я? Я два раза говорил этой каналье, чтоб отметил как служащих! Ты сам виноват! Он твой знакомый. Сам бы и просил!

– Сволочь он, а не знакомый! – загремел хозяин, – называется приятель! Трус несчастный.

Ему лишь бы с себя ответственность снять.

– На сколько? – крикнула кузина.

– На пять-с!

– А почему только меня? – спросила кузина.

– Не беспокойся! – саркастически ответил хозяин, – дойдет и до меня и до него. Буква, видно, не дошла. Но только если тебя на пять, то на сколько же меня шарахнут?! Ну, вот что – рассиживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору – объясните, что ошибка. Я тоже поеду... Живо, живо!

Кузина полетела из комнаты.

– Что ж это такое? – горестно завопил хозяин, – ведь это ни отдыху ни сроку не дают. Не в дверь, так по телефону! От реквизиций отбрились, теперь налог. Доколе это будет продолжаться? Что они еще придумают?!

Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать:

– Это меня не касается!

Край его бороды золотило апрельское солнце.

## **Бенефис лорда Керзона** *(От нашего московского корреспондента)*

Ровно в шесть утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами – Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить.

Вот они извозчики. На Садовую запросили 80 миллионов. Сторговался за полтинник. Поехали. Москва. Москва. Из парков уже идут трамваи. Люди уже куда-то спешат. Что-то здесь за месяц новенького? Извозчик повернулся, сел боком, повел туманные, двоедушные речи. С одной стороны, правительство ему нравится, но, с другой стороны, – шины полтора миллиарда! Первое мая ему нравится, но антирелигиозная пропаганда «не соответствует». А чему – неизвестно. На физиономии написано, что есть какая-то новость, но узнать ее невозможно.

Пошел весенний благодатный дождь, я спрятался под кузов, извозчик, помахивая кнутом, все рассказывал разные разности, причем триллионы называл «триллиардами» и плел какую-то околесину насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно, что он – извозчик – путает Цепляка, Тихона и епископа Кентерберийского.

И вот дома. А никуда я больше из Москвы не поеду. В десять простыня «Известий», месяц в руках не держал. На первой же полосе – «Убийство Воровского»!

Вот оно что. То-то у извозчика – физиономия. В Москве уже знали вчера. Спать не придется днем. Надо идти на улицу, смотреть, что будет. Тут не только Воровский. Керзон. Керзон. Керзон. Ультиматум. Канонерка. Тральщики. К протесту, товарищи!! Вот так события! Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество!

И все-таки сон сморил. Спал до двух дня. А в два проснулся и стал прислушиваться. Ну да, конечно, со стороны Тверской – оркестр. Вот еще. Другой. Идут, очевидно.

В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская лента, а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых – октябрьских и майских, но среди них мельком новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат «Убийство Воровского – смертный час европейской буржуазии». Потом красный: «Не шутите с огнем, господин Керзон». «Порох держим сухим».

Поток густел, густел, стало трудно пробираться вперед по краю тротуара. Магазины закрылись, задернули решетками двери. С балконов, с подоконников глядели сотни голов. Хотел уйти в переулок, чтобы окольным путем выйти на Страстную площадь, но в Мамонтовском безнадежно застряли ломовики, две машины и извозчики. Решил катиться по течению. Над толпой поплыл грузовик-колесница. Лорд Керзон, в цилиндре, с раскрашенным багровым лицом, в помятом фраке, ехал стоя. В руках он держал веревочные цепи, накинутые на шею восточным людям в пестрых халатах, и погонял их бичом. В толпе сверлил пронзительный свист. Комсомольцы пели хором:

Пиши, Керзон, но знай ответ:  
Бумага стерпит, а мы нет!

На Страстной площади навстречу покатылся второй поток. Шли красноармейцы рядами без оружия. Комсомольцы кричали им по складам:

– Да здрав-ству-ет Крас-на-я Ар-ми-я!

Милиционер ухитрился на несколько секунд прорвать реку и пропустил по бульвару два автомобиля и кабриолет. Потом ломовикам хрипло кричал:

– В объезд!

Лента хлынула на Тверскую и поплыла вниз. Из переулка вынырнул знакомый спекулянт, посмотрел на знамена, многозначительно хмыкнул и сказал:

– Не нравится мне это что-то... Впрочем, у меня грыжа.

Толпа его затерла за угол, и он исчез.

В Совете окна были открыты, балкон забит людьми. Трубы в потоке играли «Интернационал», Керзон, покачиваясь, ехал над головами. С балкона кричали по-английски и по-русски:

– Долой Керзона!!

А напротив, на балкончике под обелиском Свободы, Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:

... британ-ский лев вой!  
Ле-вой! Ле-вой!

– Ле-вой! Ле-вой! – отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибала к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

– Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!

И стал объяснять:

– Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!! Когда убивали бакинских коммунистов...

Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:

Вставай, проклятьем заклейменный!

Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:

– В отставку Керзона!!

В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечках и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, а мимо Иверской через оба пролета Вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди: «Нота», затем гигантский картонный кукиш с надписью: «А вот наш ответ».

По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Керзон мотался с веревкой на шесте. Его били головой о мостовую. По Театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями: «Вот плоды политики Керзона». Лакированные машины застряли у поворота на Неглинный в гуще народа, а на Театральной площади было сплошное море. Ничего подобного в Москве я не видал даже в октябрьские дни. Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотах, пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у Центральных бань. На Неглинном было свободно. Трамваи всех номеров, спутав маршруты, поспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было сво-

бодно, но на Кузнецком опять засверкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выехала колесница-клетка. В клетке сидели Пилсудский, Керзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи: «...всех стран соеди...»

Из корзины пилоты выбрасывали листы летучек, и они, ныряя и чернея на голубом фоне, тихо падали в Москву.

## Комаровское дело

С начала 1922 года в Москве стали пропадать люди. Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или подмосковными крестьянами, приехавшими покупать лошадей. Выходило так, что человек и лошади не покупал, и сам исчезал.

В то же время ночами обнаруживались странные и неприятные находки – на пустырях Замоскворечья, в развалинах домов, в брошенных недостроенных банях на Шаболовке оказывались смрадные, серые мешки. В них были голые трупы мужчин.

После нескольких таких находок в Московском уголовном розыске началась острая тревога. Дело было в том, что все мешки с убитыми носили на себе печать одних и тех же рук – одной работы. Головы были размозжены, по-видимому, одним и тем же тупым предметом, вязка трупов была одинаковая – всегда умелая и аккуратная, – руки и ноги притянуты к животу. Завязано прочно, на совесть.

Розыск начал работать по странному делу настойчиво. Но времени прошло немало, и свыше тридцати человек улеглись в мешки среди груд замоскворецких кирпичей.

Розыск шел медленно, но упорно. Мешки вязались характерно – так вяжут люди, привычные к запряжке лошадей. Не извозчик ли убийца? На дне некоторых мешков нашлись следы овса. Большая вероятность – извозчик. 22 трупа уже нашли, но опознали из них только семерых. Удалось выяснить, что все были в Москве по лошадиному делу. Несомненно – извозчик.

Но больше никаких следов. Никаких нитей абсолютно от момента, когда человек хотел купить лошадь, и до момента, когда его находили мертвым, не было. Ни следа, ни разговоров, ни встреч. В этом отношении дело действительно исключительное.

Итак – извозчик. Трупы в Замоскворечье, опять в Замоскворечье, опять. Убийца – извозчик, живет в Замоскворечье.

Агентская широкая петля охватила конные площади, чайные, стоянки, трактиры. Шли по следам замоскворецкого извозчика.

И вот в это время очередной труп нашли со свежей пеленкой, окутывающей размозженную голову. Петля сразу сузилась – искали семейного, у него недавно ребенок.

Среди тысячи извозчиков нашли.

Василий Иванович Комаров, легковой, проживал на Шаболовке в доме № 26. Извозным промыслом занимался странно – почти никогда не рядился, но на конной площади часто бывал. Деньги имел всегда. Пил много.

Ночью на 18 мая в квартиру на Шаболовку явилась агентура с ордером наружной милиции, якобы по поводу самогонки. Легковой встретил их с невозмутимым спокойствием. Но когда стали открывать дверь в чуланчик на лестнице, он, выпрыгнув со второго этажа в сад, ухитрился бежать, несмотря на то, что квартиру оцепили.

Но ловили слишком серьезно и в ту же ночь поймали в подмосковном Никольском, у знакомой молочницы Комарова. Застали Комарова за делом. Он сидел и писал на обороте удостоверения личности показание о совершенных им убийствах и в этом показании зачем-то путал и оговаривал своих соседей.

В Москве на Шаболовке в это время агенты осматривали последний труп, найденный в чулане. Когда чулан открывали, убитый был еще теплый.

\* \* \*

Пока шло следствие, Москва гудела словом «Комаров-извозчик». Говорили женщины о наволочках, полных денег, о том, что Комаров кормил свиней людскими внутренностями, и т. д.

Все это, конечно, вздор.

Но та сущая правда, что выяснилась из следствия, такого сорта, что уж лучше были бы и груды денег в наволочках, и даже гнусная кормежка свиней или какие-нибудь зверства, извращения. Оно, пожалуй, было бы легче, если б было запутанней и страшней, потому что тогда стало бы понятно самое страшное во всем этом деле – именно сам этот человек, Комаров (несущественная деталь: он, конечно, не Комаров Василий Иванович, а Петров Василий Терентьевич. Фальшивая фамилия – вероятно, след уголовного, черного прошлого... Но это не важно, повторяю).

Никакого желания нет писать уголовный фельетон, уверяю читателя, но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все-таки этого Комарова понять.

Он, оказывается, рогожи специальные имел, на эти рогожи спускал из трупов кровь (чтобы мешков не марать и саней); когда позволили средства, для этой же цели купил оцинкованное корыто. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно: всегда одним и тем же приемом, одним молотком по темени, без шума и спешки, в тихом разговоре (убитые все и были эти интересовавшиеся лошадьми люди. Он предлагал им на конной свою лошадь и приглашал их для переговоров на квартиру) наедине, без всяких сообщников, услав жену и детей.

Так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя.

Вне этого был обыкновенным плохим человеком, каких миллионы. И жену, и детей бил и пьянствовал, но по праздникам приглашал к себе священников, те служили у него, он их угощал вином. Вообще был богомольный, тяжелого характера человек.

Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом «человек-зверь». Слово унылое, бессодержательное, ничего не объясняющее. И настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие «зверства», и утвердилась у меня другая формула: «И не зверь, но и ни в коем случае не человек».

Никак нельзя назвать человеком Комарова, как нельзя назвать часами одну луковицу, из которой вынут механизм.

\* \* \*

Эту формулу для меня процесс подтвердил. Предстал перед судом футляр от человека – не имеющий в себе никаких признаков зверства. Впрочем, может быть, какие-нибудь особенные, доступные специалисту – психиатру, черты и есть, но на обыкновенный взгляд – пожилой обыкновенный человек, лицо неприятное, но не зверское, и нет в нем никаких признаков вырождения.

Но когда это создание заговорило перед судом, и в особенности захихикало сиплым смешком, хоть и не вполне, но в значительной мере (не знаю, как другим) мне стало понятно, что это значит – «не человек».

Когда его первая жена отравилась, оно – это существо – сказало:

– Ну и черт с ней!

Когда существо женилось второй раз, оно не поинтересовалось даже узнать, откуда его жена, кто она такая.

– Мне-то что, детей, что ли, с ней крестить! (Смешок.)

– Раз и квас! (На вопрос, как убивал. Смешок.)

– Хрен его знает! (На многие вопросы эта идиотская поговорка. Смешок.)

– Человечиной не кормили ваших поросят?

– Нет (хи-хи)... да если кормил, я бы больше поросят завел... (хи-хи).

Дальше – больше. Все в жизни этот залихватский, гнусный «хрен», сопровождаемый хихиканием. Оказывается, людей кругом нет. Есть «чудаки» и «хомуты». Презирает. Какая тут «звериность»! Если б зверино ненавидел и с яростью убивал, не так бы оскорбил всех окружающих, как этим изумительным презрением. Собаку – животное – можно было бы замучить этим из ряда выходящим невниманием, которым Комаров награждал окружающих людей. Жена его «римско-католическая пани» (хи-хи), «много кушает». Ни злобы, ни скупости. Пусть кушает возле меня эта римско-католическая рвань. Злобы нет, но «оплеухи иногда я ей давал». Детей бил «для науки».

– Зачем убивали?

Тут сразу двойное. Но все понятно. Во-первых, для денег. Во-вторых, вот «не любил» людей. Вот бывают такие животные, что убить его – двойная прибыль: и польза, и сознание, что избавишься от созерцания неприятного божьего создания. Гусеница, скажем, или змея... Так Комарову – люди.

Словом, создание – мираж в оболочке извозчика. Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей.

Жуткий ореол «человека-зверя» исчез. Страшного не было. Но необычайно отталкивающее.

\* \* \*

Изъять. Он боялся? Нет. Он – сильное, не трусливое существо.

По-моему, над интервьюерами, следствием и судом полегоньку даже глумился. Иногда чепуху какую-то городил. Но вяло. С усмешечкой. Интересуетесь? Извольте. «Цыганку бы убить или попа»... Зачем? «Да так»...

И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось, равно как и попа, а так – надели с вопросами «чудаки», он и говорит первое, что взбретет на ум.

Интервьюер спросил, что он думает о том, что его ожидает. «Э... все поколеем!»

Равнодушен, силен, не труслив и очень глупый в человеческом смысле. Прибаутки его ни к селу ни к городу, мысли скупые, нелепые. И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!.. все это чуйки, отравленные большими городами.

Что касается силы.

В одну из ночей, не знаю после какого именно убийства, вез запакованный обескровленный труп к Москве-реке. Милиционер остановил:

– Что везешь?

– А ты, дурной, – мягко ответил Комаров, – пощупай. – Милиционер был действительно «дурной». Он потрогал мешок и пропустил Комарова.

Потом Комаров стал ездить с женой.

\* \* \*

Вследствие этих поездок на скамье рядом с Комаровым оказалась Софья Комарова.

Лицо тоже знакомое. Не раз на Сухаревке, на Домниковке, на Смоленском приходилось видеть такие длинные, унылые лица, желтые бабьи лица, окаймленные платком.

Комарова выводили, когда Софья давала показания, и, несмотря на это, сложилось впечатление, что она чего-то недоговаривала. Думается, что никаких особенных тайн, впрочем, она не скрыла. Во время убийств Комаров ее высылал вместе с ребятами. А может быть, и помогала временами – прибрать, замыть после работы. Дело – женское. Ну, и вот эти поездки.

«Так... дурочка... слабая», – определил ее муж. Несомненно, над тупой, пустой «римско-католической» бабой висела камнем воля мужа.

\* \* \*

Приговор?

Ну, что тут о нем толковать.

Приговор в первый раз вынесли Комарову, когда милиция под конвоем повезла его, чтобы он показал, где закопал часть трупов (несколько убитых он зарыл близ своей квартиры на Шаболовке).

Словно по сигналу, слетелась толпа. Вначале были выкрики, истерические вопли баб. Затем толпа зарычала потихоньку и стала наваливаться на милицейскую цепь – хотела Комарова рвать.

Непостижимо, как удалось милиции отбить и увезти Комарова.

Бабы в доме, где я живу, тоже вынесли приговор – «сварить живьем».

– Зверюга. Мясорубка. У этих тридцати пяти мужиков сколько сирот оставил, сукин сын.

На суде три психиатра смотрели:

– Совершенно нормален. Софья – тоже. Значит...

– Василия Комарова и жену его Софью к высшей мере наказания, детей воспитывать на государственный счет.

От души желаю, чтобы детей помиловал тяжкий закон наследственности.

Не дай бог походить на покойных отца и мать.

## День нашей жизни

- А вот угле-ей... углееееей!..
- Вот чертова глотка.
- ...глей... глей!!
- Который час?
- Половина девятого, чтоб ему издохнуть.
- Это значит, я с шести не сплю. Они навеки в отдушине поселились. Как шесть часов, отец семейства летит и орет как сумасшедший, а потом дети. Знаешь, что я придумала? Ты в них камнем швырни. Прицелься хорошенько, и попадешь.
- Ну да. Прямо в студию, а потом за стекло два месяца служить.
- Да, пожалуй. Дрянные птицы. И почему в Москве такая масса ворон... Вон за границей голуби... В Италии...
- Голуби тоже сволочь порядочная. Ах, черт возьми! Погляди-ка...
- Боже мой! Не понимаю, как ты ухитряешься рвать?
- Да помилуй! При чем здесь я? Ведь он сверху донизу лопнул. Вот тебе твой ГУМ универсальный!
- Он такой же мой, как и твой. Сто миллионов носки на один день. Лучше бы я ромовой бабки купила. На зеленые.
- Ничего, я булавочкой заколю. Вот и незаметно. Осторожнее, ради бога!..
- Ты знаешь, Сема говорит, что это не примус, а оптамус.
- Ну и что?
- Говорит, обязательно взорвет. Потому, что он шведский.
- Чепуху какую-то твой Сема говорит.
- Нет, не чепуху. Вчера в шестнадцатой квартире у комсомолки вся юбка обгорела. Бабы говорят, что это ее бог наказал за то, что она в комсомол записалась.
- Бабы, конечно... они понимают...
- Нет, ты не смейся. Представь себе, только что она записалась, как – трах! – украли у нее новенькие лаковые туфли. Комсомолкина мамаша побежала к гадалке. Гадалка пошептала, пошептала и говорит: взяла их, говорит, женщина, небольшого роста, замужняя, на щеке у ей родинка...
- Постой, постой...
- Вот то-то ж. Ты слушай. То-то я удивляюсь, как ни прохожу, все комсомолкина мамаша на мою щеку смотрит. Наконец потеряла я терпение и спрашиваю: что это вы на меня смотрите, товарищ? А она отвечает: так-с, ничего. Проходите, куда шли. Только довольно нам это странно. Образованная дама, а между тем родинка. Я засмеялась и говорю: ничего не понимаю! А она: ничего-с, ничего-с, проходите. Видали мы блондинок!
- Ах, дрянь!
- Да ты не сердись. Прилетает комсомолка и говорит мамаше: дура ты, у ей муж по 12-му разряду, друг Воздушного Флота, захочет, так он ее туфлями обсыпет всю. Видала чулки телесного цвета? И надоели вы мне, говорит, мамаша, с вашими гадалками и иконами! И собиралась иконы вынести. Я, говорит, их на Воздушный Флот пожертвую. Что тут с мамашей делалось! Выскочила она и закатила скандал на весь двор. Я, кричит, не посмотрю, что она комсомолка, а прокляну ее до седьмого колена! А тебе, орет, желаю, чтоб ты со своего Воздушного Флота мордой об землю брякнулась!
- Баб слетелось видимо-невидимо, и выходит, наконец, комендант и говорит: вы немного полегче, Анна Тимофеевна, а то за такие слова, знаете ли... Что касается вашей дочери, то она заслуживает полного уважения со стороны всего пролетариата нашего номера за борьбу с

капиталом Маркса при помощи Воздушного Флота. А вы, Анна Тимофеевна, извините меня, но вы скандалистка, вам надо валерьянкины капли пить! А та как взбеленилась и коменданту: пей сам, если тебе самогонка надоела!

Ну тут уж комендант рассвирепел: я, говорит, тебя, паршивая баба, в 24 часа выселю из дома, так что ты у меня как на аэроплане вылетишь, к свиньям! И ногами начал топтать. Топал, топал, и вдруг прибегает Манька и кричит: Анна Тимофеевна, туфли нашлись!

Оказывается, никакая не блондинка, а это Сысоич, мамашин любовник, снес их самогоннице, а Манька...

– Да! Да! Войдите! В чем дело, товарищ?

– Деньги за энергию пожалуйста, 35 лимонов.

– Однако! Пять, десять...

– Это что. В следующем месяце 100 будет. МОГЭС по банкноту берет. Банкнот в гору. И коммунальная энергия за ним. До свиданьи-ус. Виноват-с. Вы к духовному сословию не принадлежите?

– Помилуйте! Кажется, видите... брюки...

– Хе-хе. Это я для порядку. Контора запрашивает для списков. Так я против вас напишу – трудящий элемент.

– Вот именно. Честь имею...

Отцвели уж давно-о-о хризантемы в саду-у!

– Точить ножжжи-ножницы!..

Но любовь все живет в моем сердце больном!

– Брось ты ему пять лимонов, чтоб он заткнулся.

– А за ним шарманка ползет...

– Ну, я полетел... Опаздываю... Приду в пять или в восемь!..

– Молочка не потребуется?.. Дорогие братцы, сестрички, подайте калеке убогому... Клубника. Нобель замечательная... Булочки – свежие французские... Папиросы «Красная звезда». Спич-ки... Обратите внимание, граждане, на убожество мое!

– Извозчик! Свободен?

– Пожалте... Полтора рублика! Ваше сиятельство! Рублик! Господин!! Я катал!! Семь гривен! Я даю! На резвой, ваше высокоблагородие! Куда ехать? Полтинник!

– Четвертак.

– Три гривенничка... Эх, ваше сиятельство, овес.

– Ты куда? Я т-тебе угол срежу!

– Вот оно, ваше превосходительство, житье извозничье.

– Эх, держи его! Так его. Не сигай на ходу!

– Вор?

– Никак нет. В трамвай на скаку сиганул. На 50 лимонов штрахують.

– Здесь. Стой! Здравствуйте, Алексей Алексеич.

– Праскухин-то... Слышали? 25 червонцев позавчера пристроил! Прислало отделение, а он расписался и, конечно, на бега. Вчера является к заведывающему пустой, как барабан. Тот ему говорит – даю вам шесть часов срока, пополните. Ну, конечно, откуда он пополнит. Разве что сам напечатает. Ловят его теперь.

– Помилуйте, я его только что в трамвае видел. Едет с какими-то свертками и бутылками...

– Ну так что ж. К жене на дачу поехал отдыхать. Да вы не беспокойтесь. И на даче словят. И месяца не пройдет, как поймают.

– Алло... Да, я... Не готово еще. Хорошо... На отношение ваше за № 21580 об организации при губотделе фонда взаимопомощи сообщаю, что ввиду того, что губкасса... Машиночки свободны?.. На заседании губпроса было обращено внимание цекпроса на то, запятая...

написали?.. что изданное, перед «что» запятая, а не после «что», изданное Моно циркулярное распоряжение, направленное в роно и уоно и губоно... а также утвержденное губсоцвосом... Алло! Нет, повесьте трубку...

– А я тут к вам поэта направил из провинции.

– Ну и свинство с вашей стороны... Вы, товарищ? Позвольте посмотреть...

Но если даже люди  
Меня затопчут в грязь,  
Я воскликну, смеясь...

Видите ли, товарищ, стихи хорошие, но журнал чисто школьный, народное образование... Право, не могу вам посоветовать... журналов много... Попробуйте... Переутомился я, и денег нет... Сколько, вы говорите, за мной авансу? Уй-юй-юй! Ну, чтоб округлить, дайте еще пятьсот... Триста? Ну, хорошо. Я сейчас поеду по делу, так вы рукописи секретарю передайте... Извозчик! Гривенник!..

– Подайте, барин, сироткам...

– Стой! Здравствуйте, Семен Николаевич!

– В кассе денег ни копейки.

– Позвольте... Что ж вы так сразу... Я ведь еще и не заикнулся...

– Да ведь вы сегодня уже пятый. Капитан за капитаном, Юрий Самойлович за Юрием Самойловичем...

– Знаю, знаю... А патриарх-то? А?

– Капитан поехал его интервьюировать...

– Это интересно... Кстати, о патриархе, сколько за мной авансу?.. Двести? Нет, триста... извозчик! Двугривенный... Стой! Нет, граждане, ей-богу, я только на минуту, по делу. И вечером у меня срочная работа... Ну, разве на минуту... Общее собрание у них... Ну, мы подождем и их захватим... Стой!..

Во Францию два гренадера  
Из русского плена брели!

Ого-го!... А мы сейчас два столика сдвинем... Слуш... Раки получены... Необыкновенные раки... Граждане, как вы насчет раков? А?.. Полдюжины... И трехгорного полдюжины... Или лучше, чтоб вам не ходить, – сразу дюжину!.. Господа! Мы же условились... на минуту...

Иная на сердце забота!..

Позвольте... Позвольте... что ж это он поет?..

В плену... полководец... в плену-у-у...

А! Это другое дело. Ваше здоровье. Братья писатели!.. Семь раз солянка по-московски!

И выйдет к тебе... полководец!  
Из гроба твой ве-е-рный солдат!!

Что это он все про полководцев?.. Великая французская... Раки-то, раки! В первый раз вижу...

Bis! Bis!! Народу-то! Позвольте... что ж это такое? Да ведь это Праскухин! Где?! Вон, в углу. С дамой сидит! Чудеса!.. Ну, значит, еще не поймали!.. Гражданин! Еще полдюжинки! Вни-и-из по ма-а-а-тушке по Во-о-о-лге!..

Эх, гармония хороша! Еду на Волгу! Переутомился я! Билет бесплатный раздобуду, и только меня и видели, потому я устал!

По широкому-у раздолью!..

Батюшки! Выводят кого-то!

– Я не посмотрю, что ты герой труда!!! А...а!!

– Граждане, попрошу неприличными словами не выразаться...

– Граждане, а что, если нам красного напараули?

А?.. Поехали! На минуточку... Сюда! Стоп! Шашлык семь раз...

Был душой велик! умер он от ран!!

...Да на трамвае же!.. Да на полчаса!.. Плюньте, завтра напишете!..

– Захватывающее зрелище! Борьба чемпиона мира с живым медведем... Bis!! Что за черт! Что он, неуловимый, что ли?! Вон он! В ложе сидит!.. Батюшки, половина первого! Извозчик! Извозчик!..

– Три рублика!..

– ...Очень хорошо. Очень.

– Миленькая! Клянусь, общее собрание. Понимаешь. Общее собрание, и никаких. Не мог!

– Я вижу, ты и сейчас не можешь на ногах стоять!

– Деточка. Ей-богу. Что бишь я хотел сказать? Да. Праскухин-то?.. Понимаешь? Двадцать пять червонцев, и, понимаешь, в ложе сидит... Да бухгалтер же... Брюнет...

– Ложись ты лучше. Завтра поговорим.

– Это верно... Что бишь я хотел сделать? Да, лечь... Это правильно. Я ложусь... но только умоляю разбудить меня, разбудить меня непременно, чтоб меня черт взял, в десять минут пятого... нет, пять десятого... Я начинаю новую жизнь... Завтра...

– Слышали. Спи.

## Москва 20-х годов

### Вступление

Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921 – 1924 годов. О нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором бы не было учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:

– Ишь домина! Позвольте, да ведь я в нем был! Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: «Идите в Златоуспенский переулок, в 6-й этаж, комната №...» Позвольте, 242? а может, и 180?.. Забыл. Не важно... Одним словом: «Идите и получите объявление в Главхиме»... или в Центрохиме? Забыл. Ну, не важно... «Получите объявление, я вам 25%». Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: «Идите объявление получите», – я бы ответил: «Не пойду». Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда... О, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз. Я влез на 6-й этаж, нашел эту комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления.

Кстати, о 6-х этажах. Позвольте, кажется, в этом доме есть лифты? Есть. Есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых. А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверениями о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами (я в том числе) одинаково поднимались пешком в 6-й этаж.

Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело! На Патриарших прудах, у своих знакомых, я был совсем недавно. Благодушно поднимаясь на своих ногах в 6-й этаж, футах в 100 над уровнем моря, в пролете между 4-м и 5-м этажами, в сетчатой трубе, я увидел висящий, весело освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас:

– Расстрелять их надо, мерзавцев!

На лестнице стоял человек швейцарского вида, с ним рядом другой, в замасленных штанах, по-видимому механик, и какие-то любопытные бабы из 16-й квартиры.

– Экая оказия, – говорил механик и ошеломленно улыбался.

Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду.

Бог знает, существует ли сейчас этот Центр– или Главхим, или его уже нет! Может быть, там какой-нибудь Химтрест, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого Хима, ни рыжего лысого, а комнаты уже сданы и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван и сидит на месте химического человека обаятельная барышня, с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает «Тарзана». Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не полезу ни пешком, ни в лифте!

Да, многое изменилось на моих глазах.

Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке – в Деловом дворе, на Старой площади – в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание – найти себе пропитание. И я его находил, правда скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротеч-

ных, как чахотка, должностях, добывал его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Лыготрест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю, инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки.

Но довольно. Читателю, конечно, неинтересно, как я нырял в Москве, и рассказываю я все это с единственной целью, чтобы он поверил мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен ее описать. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так!

На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида.

# I

## Вопрос о жилище

*...Эй, квартиру!!*  
*2-й акт «Севильского цирюльника»*

Условимся раз навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, сообщаю всем проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах – квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

\* \* \*

Но этого мало – последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие слова «квартира» и словом этим наивно называют что попало. Так, например, недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)». Подпись и круглая жирная печать.

Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел оборванный толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собою большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала «Тарзана».

Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если б вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя.

– Маня! (Из крайней картонки.)

– Ну? (Из противоположной крайней.)

– У тебя есть сахар? (Из крайней.)

– В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами... (Из соседней правой.)

– Конфеты есть... (Из противоположной крайней.)

– Свинья ты! (Из соседней левой.)

– В половину восьмого вместе пойдем!

– Вытри ты ему нос, пожалуйста...

Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, – просто щенки. Такой штуки им ни в жизнь не изобрести!

– Как же вы сюда попали? Го-го-го!.. Советская делегация в сопровождении советской колонии отправилась на могилу Карла Маркса... Ну?! Вот тебе и «ну»! Благодарю вас, я пил...

С конфетами?.. Ну их к чертям! Свинья, свинья, свинья! Выбрось его вон! А вы где?.. В Киото и Июкогаме... Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу!.. Как, уборной нету?!!

Боже ты мой! Я ушел, не медля ни секунды, а они остались. Я прожил четверть часа в этой картонке, а они живут 7 (семь) месяцев.

Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце, и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее, и царит мертвая тишина. Тишина – это великая вещь, дар богов, и рай – это есть тишина. А между тем дверь у меня всегда одна (равно как и комната), и выходит эта дверь непосредственно в коридор, а наискось живет знаменитый Василий Иванович со своею знаменитой женой.

\* \* \*

Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце! Я упираюсь лбом в каменную стену, и Василий Иванович надо мной как крышка гроба.

Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки В. И. направлены в ущерб его ближним, и в Кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого он бы не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон? Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И т. д. Очень жаль, что в Кодексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов: умоляю ввести его! Вот он играл. Говорю – играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрызения совести остановили этого человека? О нет, чудачки из Берлина: он ее пропил.

Словом, он немыслим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так: он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь докажет мне, что я не прав.

\* \* \*

И вот третий год я живу в квартире с Василием Ивановичем, и сколько еще проживу – неизвестно. Возможно, и до конца моей жизни, но теперь, после визита в картонку, мне стало легче. Не нужно особенно замахиваться, граждане!

Да, мне стало легче. Я стал терпеливее и к людям участливее.

Доктор Г., мой друг, явился ко мне на прошлой неделе с воплем:

– Зачем я не женился?!

В устах его, первого и признанного женофоба в Москве, такая фраза заслуживала внимания.

Оказалось: домовое управление его уплотнило. Поставило перегородку в его комнате и за перегородкой поселило супружескую пару. Тщетно доктор барахтался и выл. Ничего не вышло. Председатель твердил одно:

– Вот ежели бы вы были женатый, тогда другое дело...

А третьего дня доктор явился и сказал:

– Ну, слава богу, что я не женился... Ты с женой ссоришься?

– Гм... иногда... как сказать... – ответил я уклончиво и вежливо, поглядывая на жену, – вообще говоря... бывает иногда... видишь ли...

– А кто виноват бывает? – быстро спросила жена.

– Я, я виноват, – поспешил уверить я.

– Кошмар. Кошмар. Кошмар, – заговорил доктор, глотая чай, – кошмар! Каждый вечер, понимаешь ли, раздается одно и то же: «Ты где был?» – «На Николаевском вокзале». – «Врешь.» – «Ей-богу...» – «Врешь!» Через минуту опять: «Ты где был?» – «На Нико...» – «Врешь!» Через полчаса: «Где ты был?» – «У Ани был». – «Врешь!!!»

– Бедная женщина, – сказала жена.

– Нет, это я бедный, – отозвался доктор, – и я уезжаю в Орехово-Зуево. Черт ее бери!

– Кого? – спросила жена подозрительно.

– Эту... клинику.

\* \* \*

Он в Орехово-Зуево, а знакомая Л. Е. в Италии. Увы, ей нет места даже за перегородкой. И прекраснейшая женщина, которая могла бы украсить Москву, стремится в паршивый какой-то Рим.

И Василий Иванович останется, а она уедет!

А Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов, а на полу совсем нет градусов и даже одного не хватает. Минус один. И всю зиму играла вальсы Шопена в валенках, а Петр Сергеич нанял прислугу и через неделю ее рассчитал, а прислуга никуда не ушла! Потому что пришел председатель правления и сказал, что она (прислуга) – член жилищного товарищества и занимает площадь и никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеич, совершенно ошалевший, мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать? А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка храброго красноармейца, храбшего Перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеичу!

А некий молодой человек, у которого в «квартире» поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами:

– Надоела ты мне, божья старушка.

И при этом стукнул старушку безменом по голове. И таких случаев или случаев подобных я знаю за последнее время целых четыре. Осуждаю ли я молодого человека? Нет. Категорически – нет. Ибо прекрасно чувствую, что, посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует.

А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну...

Впрочем, довольно.

\* \* \*

Отчего же происходит такая странная и неприятная жизнь? Происходит она только от одного – от тесноты. Факт, в Москве тесно.

Что же делать?!

Сделать можно только одно: применить мой проект, и этот проект я изложу, предварительно написав еще главу «О хорошей жизни».

## II О хорошей жизни

Юрий Николаевич заложил ногу за ногу и, прожевывая кекс, спросил:

– Вот не совсем понимаю, почему вы, человек довольно благодушный, как только начинаете говорить о квартире, впадаете в ярость?

Я тоже сунул в рот кусок кекса (прекрасная вещь с чаем, но отнюдь не в 5 часов дня, когда человек приходит со службы и нуждается в борще, а не в чае с кексом. Вообще, московские граждане, бросим мы эти файф-о– клоки, к чертям!) и ответил:

– Потому и впадаю в ярость, что я на этом вопросе собаку съел. Высокий специалист.

– Может быть, вы еще чаю хотите? – осторожно предложила хозяйка.

– Нет, благодарю вас, чаю не хочется. Сыт, – со вздохом ответил я, чувствуя какое-то странное томление. Обломки кекса плавали внутри меня в чайном море и вызывали чувство тоски.

– Вам хорошо говорить, – продолжал я, закуривая, – когда у вас прекрасная квартира в две комнаты.

Юрий Николаевич тотчас судорожно засмеялся, торопливо проглатывая изюм, и полез в карман. В нем он ничего не нашел. В другом тоже. И в третьем. Тогда он кинулся к столу, нырнул в ящики, нырнул в какие-то груды – и там не нашел.

Вместо искомого нашел позапрошлый понедельничный номер «Накануне», полюбовался на него и сказал:

– Пропала куда-то. Ну, ладно.

С этими словами он стал на колени на пол и ухватился за ножки кресла в углу. Лохматый пес обрадовался суете, начал скакать и хватать его за штаны.

– Пошел вон! – закричал, краснея, Юрий Николаевич. Кресло отъехало в сторону, и в огромнейшей лохматой дыре, аршин в диаметре, оказался купол соседней церкви на голубом фоне неба.

– Однако.

– До ремонта ее не было, – пояснил счастливый обладатель двух комнат с дырой, – а вот сделали ремонт и дыру.

– Так ее же можно заделать.

– Нет, уж я ее заделывать не буду. Пусть тот, кто мне бумажку прислал, сам и заделывает. Он опять похлопал по карманам, но бумажки так и не нашел.

– Бумажку прислали, чтобы я вытряхнулся из этой квартиры.

– Куда?

– В бумажке написано: не касается.

Каюсь: на душе у меня полегчало. Не один, стало быть, я.

\* \* \*

В самом деле: как это так «вытряхайтесь»?! Ведь месту пусто не быть? Юрий Николаевич вытряхнется, но ведь на его место «втряхнется» Сидор Степаныч? А Юрий Николаевич, оказавшись на панели, ведь тоже пожелает войти под кров? А если под этим кровом сидит уже Федосей Гаврилович? Стало быть, Федосей Гавриловичу вытряхательную бумажку? Федосей на место Ивана, Иван на место Ферапонта, Ферапонт на место Панкратия...

Нет, граждане, это чепуха какая-то получается!

\* \* \*

В лето от рождества Христова... (в соседней комнате слышен комсомольский голос: «Не было его!!») Ну, было или не было, одним словом, в 1921 году, въехав в Москву, и в следующие года, 1922-й и 1923-й, страдал я, граждане, завистью в острой форме. Я, граждане, человек замечательный, скажу это без ложной скромности. Трудкнижку в три дня добыл, всего лишь три раза по 6 часов в очереди стоял, а не по 6 месяцев, как всякие растяпы. На службу пять раз поступал, словом, все преодолел, а квартирку, простите, осилить не мог. Ни в три комнаты, ни в две и даже ни в одну. И как сел в знаменитом соседстве с Василием Ивановичем, так и застрял.

(Голос Юрия Николаевича за сценой: «Да у вас отличная комната!!»)

Хор греческой трагедии. Бескомнатные:

– Эт-то возмутительно!!!

Ладно, не будем спорить. Факт тот, что бывают лучше.

Итак, застрял. Тьма событий произошла в это время в подлунном мире, и одним из них, по поводу которого я искренне ликовал, была посадка на скамью подсудимых всего этого, как он бишь назывался?.. Центрожил... ну, одним словом, те, что в 21 – 22-м гг. комнаты раздавали по ордерам. По сколько лет им дали, не помню, но жалею, что не вдвое больше. После этого и вовсе их, как он?.. «жил» этот, кажется, упразднили. И уже появились в «Известиях» объявления: «Ищу... Ищу... Ищу...», а я так и сижу.

Сидел и терзался завистью. Ибо видел неравномерное распределение благ квартирных.

\* \* \*

Не угодно ли, например. Ведь Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартирка, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж, Манюшка готовит котлеты на газовой плите, и у Манюшки еще отдельная комнатка. С ножом к горлу приставал я к Зине, требуя объяснений, каким образом могли уцелеть эти комнаты?

Ведь это же сверхъестественно!!

Четыре комнаты – три человека. И никого посторонних.

И Зина рассказала, что однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку «вытряхайтеесь»!! А она взяла и... не вытряхнулась.

Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как бог свят, и женился бы за телефончик и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры.

Зина, ты орел, а не женщина!

Эпоха грузовиков кончилась, как кончается все на этом свете. Сиди, Зинуша.

\* \* \*

Николай Иванович отыгрался на двух племянницах. Написал в провинцию, и прибыли две племянницы. Одна из них ввинтилась в какой-то вуз, доказав по всем швам свое пролетарское происхождение, а другая поступила в студию. Умен ли Николай Иванович, повесивший себе на шею двух племянниц в столь трудное время?

Не умен-с, а гениален.

Шесть комнат остались у Николая Ивановича. Приходили и с портфелями, и без портфелей и ушли ни с чем. Квартира битком была набита племянницами. В каждой комнате стояла кровать, а в гостиной две.

\* \* \*

На днях прославился Яша. Яша никаких племянниц не выписывал. Яша ухитрился в 5 (пяти) комнатах просидеть один, наклеив на дверь полусгнивший от времени (с 1918 года, кажется) ордер, из которого явственно, что у означенного Яши студия.

Яша – ты гений!

\* \* \*

А Паша... Довольно!

\* \* \*

С течением времени я стал классифицировать. И классификация моя проста, как не знаю что. Два сорта, живущих хорошей жизнью:

1) Имели и сумели сохранить (Зина, Николай Иванович, Яша, Паша и др. ...).

2) Ничего не имели, приехали и получили. Пример: приезжает из Баку Нарцисс Иоаннович, немедленно становится председателем треста, получает две комнаты (газовая плита и т. д.) в казенном доме. Затем неизменно идут неприятности на сердце от треновой дамы, засим неприятности в казенном доме, засим дальняя дорога, и в заключительном аккорде бубновый туз (десять, по амнистии – две, в общем восемь). На место Нарцисса садится Сокиз. На место Сокиза – Абрам, на Абрамово место Федор... Довольно...

## Проект

Так же, конечно, немислимо! В воздухе много проектов: в числе их бумажки о выезде в 2-х такой-то срок, хитрые планы о том, как Федула потеснить, а Валентина переселить, а Василия выселить.

Все это не то.

Действителен лишь мой проект.

## Москву надо отстраивать.

Когда в Москве на окнах появятся белые билетки со словами: «Сдаеця», – все придет в норму.

Жизнь перестанет казаться какой-то колдовской маетой у одних на сундуке в передней, у других в 6 комнатах в обществе неожиданных племянниц.

## Экстаз

Москва! Я вижу тебя в небоскребах!

## Пивной рассказ

*Вагон-лавка киевского ТЕПЕО в течение четырех месяцев  
привозила только одно пиво.  
Из письма корреспондента*

Вагон-лавку на станции ждали с нетерпением и дождались. Она приехала, и железнодорожники кинулись к ней толпой.

– Сподобились...

Первое, что бросилось в глаза обитателям станции, – это лозунг на стене вагона:

«Неприличными словами не выражаться».

А под ним другой:

«Лицам в нетрезвом состоянии ничего не продается».

– Здорово! – изумились железнодорожники. – Ишь какие лозгуны пошли. Раньше все, бывало, писали: «Укрепляй кооперацию»... или, там: «Советская кооперация спасет, как ее... ситуацию, что ли...» Или еще что-нибудь ученое... А теперь просто.

– Стало быть, укрепили!

– И, значит, не выражаться матерным образом.

– Пивом, братцы, запахло!.. Не пойму, откуда?

– От Еремкина пахнет, он только что с мастером полдюжины раздавил.

Дверь вагона открылась, и выглянул гражданин кооперативного вида.

– Не напирайте, гражданчики, – попросил он, и от слов его ударила в воздухе столь приятная струя, что Еремкин вместо того, чтобы спросить: «Сапоги есть?» – спросил:

– Вобла есть?

– Как же-с, любительская, – радостно ответил коопспец.

– Ситцу мне бы.

– Ситцу, извиняюсь, нету.

– Сарпинка, может, есть?

– Сарпинки нету, извиняюсь.

– Бязь?

– Нету бязи, извиняюсь.

– Так что ж есть из материй?

– Пиво бархатное, черное.

– Хо-хо!.. Позвольте мне полдюжинки.

– Сапоги почему?

– Сапог, извините, нету... Чего-с?.. Керосин? Не держим. Газолин не держим. Вместо газолина могу предложить вам, тетушка, «Стеньку Разина» или «Красную Баварию».

– На что мне твой «Разин»! Мне для примуса.

– Для примусов ничего не держим.

– Что ж вы, черти полосатые!

– Попрошу вас, бабушка, не выражаться по матушке.

– Взять бы эту бутылку да по голове ваших кооператоров. Тут ждешь товару, а они пошла привезли...

– Пивка позвольте две дюжины.

– Горошку нет ли?

– Пивка!

– Пивка!

– Пивка!

- Пивка!
- Пивка!
- Пивка!

\* \* \*

Вечером, когда станция утонула в пиве по маковку, единственно трезвый корреспондент сидел и при свете луны (в лампу нечего было налить) писал в «Гудок»:

«От имени служащих нашей станции М.-К.-Вор. ж. д. и косвенно от имени линии прошу «Гудок» понудить спящий учкпрофсож-5 и правление кооператива выехать на линию с продуктами. В противном случае в виде протеста выходим из добровольного членства кооперации».

Жирная луна сидела на небе, и казалось, что она тоже выпила и подмигивает...

## Как, истребляя пьянство, председатель транспортников истребил!

### *Плачевная история*

Из комнаты с надписью на дверях «Без доклада не входить» слышался треск.

Это председатель учкпрофсожа ломал себе голову, размышляя о вреде пьянства.

– Ты пойми, – говорил он, крутя за пуговицу секретаря, – что все наши несчастья от пьянства. Оно разрушает союзную дисциплину, угрожает транспорту, в корне подрывает культурно-просветительную работу как таковую и разрушает организм! Верно я сказал?

– Совершенно верно, – подтвердил секретарь и добавил: – До чего вы умны, Амос Федорович, даже неприятно!

– Ну, вот видишь. Стало быть, перед нами задача, как эту гидру пьянства истребить.

– Трудное дело, – вздохнул секретарь, – как ее, проклятую, истребишь?

– Нужно, друг! Не беспокойся: я вырву наших транспортников из когтей пьянства и порока, чего бы мне это ни стоило! Уж я придумаю.

– Вас на это взять, – льстиво сказал секретарь, – вы хитрый.

– Вот то-то.

И, сев думать, председатель подумал каких-нибудь 16 часов, но зато придумал изумительную штуку.

\* \* \*

Через несколько дней во всех погребках, пивных и тому подобных влажных заведениях появилось объявление:

«Хозяева, имейте в виду, что транспортники не кредитоспособны. Так чтоб им ничего не отпускать».

Эффект получился, действительно, неожиданный.

\* \* \*

– Здравствуй.

– Здравствуй, – хмуро ответил хозяин.

– Чего ж это у тебя такая кислая физия? Ну-ка сооруди нам две парочки.

– Нету парочек.

– Как нету? Ну, ты что, очумел?

– Ничего я не очумел. Деньги покажи.

– Ты смеешься, что ли? Завтра жалованье получу, отдам.

– Нет. Может быть, у тебя никакого жалованья нету.

– Ты спятил?.. У меня нету?! Да ты что, меня не знаешь?

– Очень хорошо знаю. Ты не кредитоспособный.

– А вот я как тебе по уху дам за эти слова...

– Ухо в покое оставь. Читай надпись...

Транспортник прочитал – и окаменел...

\* \* \*

- Бутылочку пива!
- А вы кто?
- Тю! Не узнал. Помощник начальника станции.
- Тогда нету пива.
- Как нету, а это что в корзинах?
- Это касторка.
- Да что ты врешь. Вот двое твоей касторки напились, песни поют.
- Это не такие.
- Какие ж они?
- Они почище. Деревообделочники.
- Ах ты, гадюка! Какое же ты имеешь право нас, транспортников, оскорблять...
- Объявление прочитайте.

\* \* \*

- Здравствуй, Абрам. Материю принес. Сшей ты, мой друг, мне штаны.
- Деньги вперед.
- Какие деньги? У тебя ж объявление висит: «Членам союза широкий кредит».
- Это не таким членам. Транспортникам – шиш с маслом.
- Пач-чему???
- А вон ваш председатель развесил объявление в пивнушках...

\* \* \*

- Манька! Беги в лавочку, возьми керосину на книжку... Ну, что?
- Хи-хи. Не дают.
- Как не дают?
- Так говорят: транспортникам, говорят, не даем. Они, говорят, не способны...

\* \* \*

- Дай, Федос Петрович, пятерку до среды, в субботу отдам.
- Не дам...
- На каком основании отказываешь лучшему другу?
- Ты не кредитоспособный.

\* \* \*

Через две недели по всей территории учкпрофсожа стоял вой транспортников. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы из дорпрофсожа не прислали в учкпрофсож письмо:

«Дорогой Амос Федорович! Уберите ваши объявления, к свиньям.  
Против пьянства они не помогают, а только жизнь портят.  
*Подпись*».

Смутился Амос Федорович и объявления снял.

## Праздник с сифилисом

*По материалу, заверенному Лака-Тыжменским сельсоветом.*

В день работницы, каковой празднуем ежегодно марта восьмого дня, растворилась дверь избы-читальни, что в деревне Лака-Тыжма, находящейся под благосклонным шефством Казанской дороги, ипустила в избу-читальню местного санитарного фельдшера (назовем его, хотя бы, Иван Иванович).

Если бы не то обстоятельство, что в день 8 марта никакой сознательный гражданин не может появиться пьяным, да еще на доклад, да еще в избу-читальню, если бы не то обстоятельство, что фельдшер Иван Иванович, как хорошо известно, в рот не берет спиртного, – можно было бы побиться об заклад, что фельдшер целиком и полностью пьян.

Глаза его походили на две сургучные пробки с сороковок русской горькой, и температура у фельдшера была не свыше 30 градусов. И до того ударило в избе спиртом, что председатель собрания курение прекратил и предоставил слово Ивану Ивановичу в таких выражениях:

– Слово для доклада по поводу Международного дня работницы предоставляется Ивану Ивановичу.

Иван Иванович, исполненный алкогольного достоинства, за третьим разом взял приступом эстраду и доложил такое:

– Прежде чем говорить о Международном дне, скажем несколько слов о венерических болезнях!

Вступление это имело полный успех: наступило могильное молчание, и в нем лопнула электрическая лампа.

– Да-с... Дорогие мои международные работницы, – продолжал фельдшер, тяжело отдуваясь, – вот я вижу ваши личики передо мной в количестве 80 штук...

– Сорока, – удивленно сказал председатель, глянув в контрольный лист.

– Сорока? Тем хуже... То есть лучше, – продолжал оратор, – жаль мне вас, дорогие мои девушки и дамы... Пардон!.. Женщины... Ибо чем меньше населения в данной области, как показывает статистика, тем менее заболеваний венерическими болезнями, и наоборот. И в частности сифилисом... Этим ужасающим бичом для пролетариата, не щадящим никого... Знаете ли вы, что такое сифилис?

– Иван Иванович! – воскликнул председатель.

– Помолчи минутку. Не перебивай меня. Сифилис, – затычным образом, икая, говорил оратор, – штука, которую схватить чрезвычайно легко! Вы тут сидите и думаете, что, может быть, вы застрахованы? (Тут фельдшер зловеще засмеялся...) Хм!.. Шиш с маслом. Вот тут какая-нибудь девушка ходит в красной повязке, радуется, Восьмые, там, марты всякие и тому подобное, а потом женится и, глядишь, станет умываться в один прекрасный день... сморкнется – и хлоп! Нос в умывальнике, а вместо носа, простите за выражение, дыра!

Гул прошел по всем рядам, и одна из работниц, совершенно белая, вышла за дверь.

– Иван Иванович! – воскликнул председатель.

– Виноват. Мне поручено, я и говорю. Вы думаете, что, может, невинность вас спасет? Го-го-го!.. Да и много ли среди вас невинных...

– Иван Иванович!.. – воскликнул председатель.

Еще две работницы ушли, оглянувшись в ужасе на эстраду.

– Придете вы, например, сюда; ну, скажем, бак с кипяченой водой... То да се... Жарко, понятное дело, – расстегивая раскисший воротничок, продолжал оратор, – сейчас, понятное дело, к кружке... Над вами «Не пейте сырой воды» и тому подобные плакаты Коминтерна, а перед вами сифилитик пил, со своей губой... Ну, скажем, наш же председатель...

Председатель без слов завыл.

20 работниц с отвращением вытерли губы платками, а кто их не имел – подолами.

– Чего ты воешь? – спросил фельдшер у председателя.

– Я никаким сифилисом не болел!! – закричал председатель и стал совершенно такой, как клюква.

– Чудак... Я к примеру говорю... Ну, скажем, она, – и фельдшер указал трясущимся пальцем куда-то в первый ряд, который весь и опустел, шурша юбками.

– Когда женщина 8-го Марта... достигает половой, извините за выражение, зрелости, – пел с кафедры оратор, которого все больше развозило в духоте, – что она себе думает?..

– Похабник! – сказал тонкий голос в задних рядах.

– Единственно, о чем она мечтает в лунные ночи, – это устремиться к своему половому партнеру, – доложил фельдшер, совершенно разъезжаясь по швам.

Тут в избе-читальне начался стон и скрежет зубовый. Скамьи загремели и опустели. Вышли поголовно все работницы, многие – с рыданием.

Остались двое: председатель и фельдшер.

– Половой же ее партнер, – бормотал фельдшер, качаясь и глядя на председателя, – дорогая моя работница, предается любви и другим порокам...

– Я не работница! – вскрикнул председатель.

– Извиняюсь, вы мужчина? – спросил фельдшер, тараща глаза сквозь пелену.

– Мужчина! – оскорбленно выкрикнул председатель.

– Непохоже, – икнул фельдшер.

– Знаете, Иван Иванович, вы пьяный, как хам, – дрожа от негодования, воскликнул председатель, – вы мне, извините, праздник сорвали! Я на вас буду жаловаться в центр и даже выше.

– Ну, жалуйся, – сказал фельдшер, сел в кресло и заснул.

## О пользе алкоголизма

*На собрание по перевыборам месткома на станции N член союза Микула явился вдребезги пьяный. Рабочая масса кричала: «Недопустимо!», но представитель учка выступил с защитой Микулы, объяснив, что пьянство – социальная болезнь и что можно выбирать и выпивак в состав месткома...*

*Рабкор 2619*

### Пролог

– К черту с собрания пьяную физию! Это недопустимо! – кричала рабочая масса. Председатель то вставал, то садился, точно внутри у него помешалась пружинка.  
– Слово предоставляется! – кричал он, простирая руки, – товарищи, тише!.. Слово предоставляю... товарищи, тише!.. Товарищи!.. Умоляю вас выслушать представителя учка...  
– Долой Микулу! – кричала масса, – этого пьяницу надо изжить!  
Лицо представителя появилось за столом президиума. На учкином лице плавала благожелательная улыбка. Масса еще поволновалась, как океан, и стихла.  
– Товарищи! – воскликнул представитель приятным баритоном.

Я – председатель! И если он —  
Волна! А масса вы – Советская Россия,  
То учк не может быть не возмущен,  
Когда возмущена стихия!

Такое начало польстило массе чрезвычайно.  
– Стихами говорит!  
– Кормилец ты наш! – восхищенно воскликнула какая-то старушка и зарыдала. После того как ее вывели, представитель продолжал:  
– О чем шумите вы, народные витии?!  
– Насчет Микулы шумим! – отвечала масса.  
– Вон его! Позор!  
– Товарищи! Именно по поводу Микулы я и намерен говорить.  
– Правильно! Крой его, алкоголика!  
– Прежде всего перед нами возникает вопрос: действительно ли пьян означенный Микула?  
– Ого-го-го-го! – закричала масса.  
– Ну, хорошо, пьян, – согласился представитель. – Сомнений, дорогие товарищи, в этом нет никаких. Но тут перед нами возникает социальной важности вопрос, на каком таком основании пьян уважаемый член союза Микула?  
– Именинник он! – ответила масса.  
– Нет, милые граждане, не в этом дело. Корень зла лежит гораздо глубже. Наш Микула пьян, потому что он... болен.  
Масса застыла, как соляной столб. Багровый Микула открыл один совершенно мутный глаз и в ужасе посмотрел на представителя.  
– Да-с, милейшие товарищи, пьянство есть не что иное, как социальная болезнь, подобная туберкулезу, сифилису, чуме, холере и... прежде чем говорить о Микуле, подумаем, что

такое пьянство и откуда оно взялось?.. Некогда, дорогие товарищи, бывший великий князь Владимир, прозванный за свою любовь к спиртным напиткам Красным Солнышком, воскликнул: «Наше веселие есть пити!»

– Здорово загнул!

– Здоровее трудно. Наши историки оценили по достоинству слова незабвенного бывшего князя и начали выпивать по малости, восклицая при этом: «Пьян, да умен – два угодя в нем!»

– А с князем что было? – спросила масса, которую заинтересовал доклад секретаря.

– Помер, голубчики. В одночасье от водки сгорел, – с сожалением пояснил всезнайка-секретарь.

– Царство ему небесное! – пискнула какая-то старушечка, – хуть и советский, а все ж святой.

– Ты религиозный дурман на собрании не разводи, тетя, – попросил ее секретарь, – тут тебе царств небесных нету. Я продолжаю, товарищи. После чего в буржуазном обществе выпивали 900 лет подряд всякий и каждый, не щадя младенцев и сирот. «Пей, да дело разумей», – воскликнул знаменитый поэт буржуазного периода Тургенев. После чего составил ряд пословиц народного юмора в защиту алкоголизма, как то: «Пьяному море по колена», «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», «Не вино пьянит человека, а время», «Не в свои сани не садись», – и какие бишь еще?..

– «Чай не водка, много не выпьешь!» – ответила крайне заинтересованная масса.

– Верно, мерси. «Разве с полведра напьешься?», «Курица и та пьет», «И пить – умереть, и не пить – умереть», «Налей, налей, товарищ, задравную чару!..».

– «Бог зна-е-ет, что с нами случится...» – подтянул пьяный засыпающий Микула.

– Товарищ больной, попрошу вас не петь на собрании, – вежливо попросил председатель, – продолжайте, товарищ оратор.

– «Помолимся, – продолжал оратор, – помолимся, помолимся творцу, мы к рюмочке приложимся, потом и к огурцу», «господин городской, будьте вежливы со мной, отведите меня в часть, чтобы в грязь мне не упасть», «неприличными словами прошу не выражаться и на чай не давать», «февраля двадцать девятого выпил штоф вина проклятого», «ежедневно свежие раки», «через тумбу, тумбу раз»...

– Куда?! – вдруг рявкнул председатель.

Пять человек вдруг, крадучись, вылезли из рядов и шмыгнули в дверь.

– Не выдержали речи, – пояснила восхищенная масса, – красноречиво убедил. В пивную бросились, пока не закрыли.

– Итак! – гремел оратор, – вы видите, насколько глубоко пронизала нас социальная болезнь. Но вы не смущайтесь, товарищи. Вот, например, наш знаменитый самородок Ломоносов восемнадцатого века в высшей степени любил поставить банку, а, однако, вышел первоклассный ученый и товарищ, которому даже памятник поставили у здания Университета на Моховой улице. Я бы еще мог привести выдающиеся примеры, но не хочу... Я заканчиваю, и приступаем к выборам...

## Эпилог

«...после чего рабочие массы выбрали в кандидаты месткома известного алкоголика, и на другой же день он сидел пьяный как дым на перроне и потешал зевак анекдотами, рассказывая, что разрешено пить, лишь бы не было вреда».

*Из того же письма рабкора.*

## По поводу битья жен

Лежит передо мною замечательное письмо. Вот выдержки из него:

«Я – семьянин, а потому знаю, что большая часть семейных сцен разыгрывается на почве материальной необеспеченности. Жена пищит: «Вот-де, посмотри на таких-то знакомых, как они живут!»... Подобного рода аргументация доводит до белого каления. Беда, если глава семьи слаб на руку и заедет в затылок!..

Вот в этом случае, по моему мнению, до некоторой степени полезно обратиться в местком, но не с жалобой, а за советом, и не с тем, чтобы проучить драчуна, а с тем, чтобы устранить причину, вызывающую семейные ссоры... Местком – не судья, но, как союзный орган, на обязанности которого лежит, между прочим, забота о благосостоянии членов, может изыскать средства, помочь угнетаемой возбуждением, например, ходатайства о предоставлении угнетателю службы, более обеспечивающей его существование...»

\* \* \*

Дорогой товарищ семьянин! Позвольте вам нарисовать картину в месткоме после проведения в жизнь вашего проекта.

Является некий семьянин в месткоме.

– Вам что?

– Жену сегодня изувечил.

– Тэк-с, чем же вы ее?

– Тарелкой фабрики бывшего Попова.

– Э, чудак! Кто ж тарелками дерется? Посуда денег стоит. Взяли бы кочергу. Ведь, чай, расхлопали тарелку?

– Понятное дело. Голову тоже.

– Ну, голова дело десятое. Голова и заживет, в крайнем случае. Ведь вы, надеюсь, не насмерть уходили вашу супругу?

– Ништо ей!

– Ну вот, а тарелочка не заживет. Бесхозяйственная вы личность. По какому же поводу у вас с супругой дискуссия вышла? На какую вы тему ее били?

– Да... кха... Жалованье нам вчера выдавали. Ну, понятное дело, зашли мы с кумом...

– В пивную?

– Конечно. Ну, спросили парочку... Затем еще парочку... Потом еще парочку...

– Вы дожинками считайте, скорее будет.

– М-да... выпили мы, стало быть... Пошли опять...

– Домой?

– То-то, что к Сидорову... Мадеру у него пили...

– Тэк-с... Дальше...

– Дальше я где-то был, только, хоть убейте, не помню – где. Утром сегодня являюсь, а эта змея пристаёт...

– Виноват, это кто ж змея?

– Жена моя, понятно. Где, говорит, жалованье, пьяница? Слово за слово... ну, не стерпел я...

– Да... Что ж нам с вами делать? Вы по какому разряду?

– По 9-му.

– Ну, ладно, получайте 10-й!

– Покорнейше благодарю!!

\* \* \*

Из десятого, после того как он своей змее руку сломал, – в 12-й. Тогда он ей ухо откусил – в 16-й. Тогда он ей глаза выбил сапогом – в 24-й разряд тарифной сетки. Но в сетке выше разряда нету. Спрашивается, ежели он ей кишки выпустит, куда ж его дальше?

– Персональную ставку давать? Ну нет, это слишком жирно будет!

\* \* \*

Был человек начальником станции, сломал три ребра жене, его сделали ревизором движения! Тогда он ее и вовсе насмерть ухлопал. Ан все высшие должности заняты. Спрашивается, как его наградить? Придется деньгами выдать!

\* \* \*

Нет, семьянин! Ваш проект плохой. Бьют жен вовсе не от необеспеченности. Бьют от темноты, от дикости и от алкоголизма, и никакие разряды тут не помогут. Хоть начальником тяги сделай драчуна, все равно он будет работать кулаками.

Иные средства нужны для лечения семейных неурядиц!

## Пьяный паровоз

*Станция... пьет всем коллективом, начиная от стрелочника до  
ДСП включительно, за малым исключением...  
Из газеты «Гудок»*

Скорый поезд подходил с грозным свистом. При самом входе на стрелку мощный паровоз его вдруг вздрогнул, затем подпрыгнул, потом стал качаться, как бы раздумывая, на какую сторону ему свалиться. Машинист в ужасе визгнул и дал тормоз так, что в первом вагоне в уборной лопнуло стекло, а в ресторане пять пассажиров обварились горячим чаем. Поезд стал. И машинист с искаженным лицом высунулся в окошко.

На балкончике стрелочного здания стоял растерзанный человек в одном белье, с багровым лицом. В левой руке у него был зеленый грязный флаг, а в правой бутерброд с копченой колбасой.

– Ты что ж, сдурел?! – завопил машинист, размахивая руками.

Из всех окон высунулись бледные пассажиры.

Человек на балкончике икнул и улыбнулся благодушно.

– Прошибся маленько, – ответил он и продолжал: – Поставил стрелку, а... потом гляжу... тебя нечистая сила в тупик несет! Я и стал передвигать. Натыкали этих стрелок, шут их знает зачем! Запутаишьси. Главное, что ежели б я спец был...

– Ты пьян, каналья, – сказал машинист, вздрагивая от пережитого страха, – пьян на посту?! Ты ж народ мог погубить!!

– Нич... чего мудреного, – согласился человек с колбасой, – главное, что если б я стрелочник был со специальным образованием... А то ведь я портной...

– Что ты несешь?! – спросил машинист.

– Ничего я не несу, – сказал человек, – кум я стрелочников. На свадьбе был. Сам-то стрелочник не годен стал к употреблению, лежит. А мне супруга ихняя говорит: иди, говорит, Пафнутьич, переставь стрелку скорому поезду...

– Это ужас!! Кош-мар!! Под суд их!! – кричали пассажиры.

– Ну уж и под суд, – вяло сказал человек с колбасой, – главное, если б вы свалились, ну, тогда так... А то ведь пронесло благополучно. Ну, и слава богу!!

– Ну, дай только мне до платформы до-ехать, – сквозь зубы сказал машинист, – там мы тебе такой протокол составим.

– Доезжай, доезжай, – хихикнул человек с колбасой, – там, брат, такое происходит... не до протоколу таперича. У нас помощник начальника серебряную свадьбу справляет!

Машинист засвистел, тронул рычаг и, осторожно выглядывая в окошко, пополз к платформе. Вагоны дрогнули и остановились. Из всех окон глядели пораженные пассажиры. Главный кондуктор засвистел и вылез.

Фигура в красной фуражке, в расстегнутом кителе, багровая и радостная, растопырила руки и закричала:

– Ба! Неожиданная встреча! К-каво я вижу? Если меня не обманывает зрение... ик... Это Сусков, главный кондуктор, с которым я так дружил на станции Ржев-Пассажирский?! Братцы, радость, Сусков приехал со скорым поездом!

В ответ на крик багровые физиономии высунулись из окон станции и закричали:

– Ура! Сусков, давай его к нам!

Заиграла гармоника.

– Да, Сусков... – ответил ошеломленный обер, задыхаясь от спиртового запаху, – будьте добры нам протокол и потом жезл. Мы спешим...

– Ну вот... Пять лет с человеком не видался, и вот на тебе! Он спешит! Может быть, тебе скипетр еще дать? Свинья ты, Сусков, а не обер-кондуктор!.. Пойми, у меня радостный день. И не пущу... И не проси!.. Семафор на запор, и никаких! Раздавим по банке, вспомним старину... Проведемте, друзья, эту ночь веселей!..

– Товарищ десепе... что вы?.. Вы, извините, пьяны. Нам в Москву надо!

– Чудак, что ты там забыл, в Москве? Плюнь: жарница, пыль... Завтра приедешь... Мы рады живому человеку. Живем здесь в глуши. Рады свежому человеку...

– Да помилуйте, у меня пассажиры, что вы говорите?!

– Плюнь ты на них, делать им нечего, вот они и шлятся по железным дорогам. Намедни проходит скорый... спрашиваю: куда вы? В Крым, отвечают... На тебе! Все люди как люди, а они в Крым!.. Пьянствовать, наверно, едут.

– Это кошмар! – кричали в окна вагонов. – Мы будем жаловаться в Совнарком!

– Ах... так? – сказала фигура и рассердилась. – Ябедничать? Кто сказал – жаловаться? Вы?

– Я сказал, – взвизгнула фигура в окне международного вагона, – вы у меня со службы полетите!

– Вы дурак из международного вагона, – круто отрезала фигура.

– Протокол! – кричали в жестком вагоне.

– Ах, протокол? Л-ладно. Ну, так будет же вам шиш вместо жезла, посмотрю, как вы уедете отсюда жаловаться. Пойдем, Вася! – прибавила фигура, обращаясь к подошедшему и совершенно пьяному весовщику в черной блузе, – пойдем, Васятка! Плюнь на них! Обижают нас московские столичные гости! Ну, так пусть они здесь посидят, простынут.

Фигура плюнула на платформу и растерла ногой, после чего платформа опустела. В вагонах стоял вой.

– Эй, эй! – кричал обер и свистел. – Кто тут есть трезвый на станции, покажись!

Маленькая босая фигурка вылезла откуда-то из-под колес и сказала:

– Я, дяденька, трезвый.

– Ты кто будешь?

– Я, дяденька, черешнями торгую на станции.

– Вот что, мальй... ты, кажется, смысленый мальчуган, мы тебе двугривенный дадим.

Сбегани-ка вперед посмотри, свободные там пути? Нам бы только отсюда выбраться.

– Да там, дяденька, как раз на вашем пути, паровоз стоит совершенно пьяный...

– То есть как?

Фигурка хихикнула и сказала:

– Да они, когда выпили, шутки ради в него вместо воды водки налили. Он стоит и свистить...

Обер и пассажиры окаменели и так остались на платформе. И неизвестно, удалось ли им уехать с этой станции.

## «Развратник» (Разговорчик)

Стрелочник кашлянул и вошел к начальству в комнату. Начальство помещалось за письменным столом.

– Здравствуйте, Адольф Феррапонтович, – сказал стрелочник вежливо.

– Чего тебе? – спросило начальство не менее вежливо.

– Я... видите ли, в фактическом браке состою, – вымолвил стрелочник и почему-то стыдливо улыбнулся.

Начальство брезгливо поглядело на стрелочника.

– Ты всегда производил на меня впечатление развратника, – заметило оно, – у тебя и рот чувственный.

Стрелочник окостенел. Помолчали.

– Я тебя не задерживаю, – продолжало начальство, – ты чего стоишь возле стола? Ежели ты пришел делиться грязными тайнами своей жизни, то они мне не интересны!

– Я? Извольте видеть... Я за билетиком пришел...

– За каким билетиком?

– Жене моей бесплатный билетик.

– Жене? Ты разве женат?

– Я ж докладую... в фактическом браке.

– Хи-хи... Ты весельчак, как я на тебя погляжу. В каком же ты храме венчался?

– Да я в храме не венчался...

– Где регистрировались, уважаемый железнодорожник? – подчеркнуто сухо осведомилось начальство.

– Да я ж... Я не регистри... Я ж докладую: в факти...

– Ну, видишь ли, друг, у тебя тогда не жена, а содержанка.

– То есть как...

– Очень просто. Подцепил, плутишка, какую-нибудь балерину, а теперь носится во все стороны. Дай ей, мол, бесплатный билет! Ловкач! Сегодня она бесплатный билет, а завтра она может автомобиль потребовать или моторную лодку. Или международный вагон! Она тебе в свинушнике ездить не станет все равно. Потом шляпку! А за шляпкой – чулки фильдеперсовые. Пропадешь ты, стрелочник, как собака под забором. Целковых триста она тебе в месяц обойдется. Да это еще на хороший конец, при режиме экономии, а то и все четыреста!

– Помилуйте! – воскликнул стрелочник с легким подвыванием в голосе. – Я сорок целковых получаю!

– Тем хуже. В долги влезешь, векселя начнешь писать. Ахнет она тебе счет от портнихи за платье целковых на сто восемьдесят. У тебя глаза пупом вылезут. Повертишься, повертишься и подмахнешь векселек. Срок придет, платить нечем, ты, конечно, в казино. Проиграешь сперва свои денежки, затем казенных тысяч пять, затем ключ французский гаечный, затем рожок, затем флаги зеленый и красный, затем фонарь, а в заключение – штаны. И сядешь ты на рельсы со своей плясуньей в чем мать родила. Ну, а потом, конечно, как полагается, тебя будут с треском судить. И закатают тебя, принимая во внимание, со строгой изоляцией. Так что годиков в пять не уберешь. Нет, стрелочник, брось. Она что, француженка, кокотка-то твоя?

– Какая же она француженка?! – закричал стрелочник, у которого все перевернулось вверх дном в голове. – Что вы, смеетесь? Марья она. Шляпку?.. Что вы такое говорите – шляпку! Она не знает, на какое место эту шляпку надевать. Она щи мне готовит!

– Щи и я тебе могу приготовить, но это не значит, что я тебе жена.

- Помилуйте, да ведь она в одной комнате со мной живет.
- Я с тобой тоже в одной комнате могу жить, но это не доказательство.
- Помилуйте, вы мужчина...
- Это мне и без тебя известно, – сказала начальство.

У стрелочника позеленело в глазах.

Он полез в карман и вынул газету.

– Вот, извольте видеть, «Гудок», – сказал он.

– Какой гудок? – спросило начальство.

– Газетка.

– Мне, друг, некогда сейчас газетки читать. Я их вечером обычно читаю, – сказала начальство, – ты говори короче, что тебе надо, юный красавец?

– Вот написано в «Гудке»... разъяснение, что фактическим, мол, женам, которые проживают вместе с мужем и на его иждивении, выдаются бесплатные билеты... которые... наравне...

– Дружок, – мягко перебило начальство, – ты находишься в заблуждении. Ты, может быть, думаешь, что «Гудок» для меня закон. Голубчик, «Гудок» – не закон, это – газета для чтения, больше ничего. А в законе ничего насчет балерин не говорится.

– Так, стало быть, мне не будет билета? – спросил стрелочник.

– Не будет, голубчик, – ответило начальство.

Помолчали.

– До свидания, – сказал стрелочник.

– Прощай и раскайся в своем поведении! – крикнуло ему начальство вслед.

\* \* \*

А «Гудок»-то все-таки закон, и стрелочник билет все-таки получит.

## Я убил

Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так:

– Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступило 2-е число.

– Пожалуйста, пожалуйста, – ответил я.

Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и бережно снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрой «2» и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную, загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть, и далеко за ночной Москвой в грозной дымке февральского мороза.

«Что он там разыскал?» – подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр и о театре если рассказывал, то с большим вкусом и знанием. Отличался он от всех наших ординаторов, и сейчас, у меня в гостях, прежде всего обувью. Нас было пять человек в комнате, и четверо из нас в дешевых ботинках из хрома с наивно закругленными носами, а доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый и, главное, успевающий читать, несмотря на постоянные посещения «Валькирии» и «Севильского цирюльника».

Дело, конечно, не в обуви, а в другом: интересовал он меня одним необычайным свойством своим – молчаливый и несомненно скрытный человек, в некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и бляения, «мня-я» и всегда на очень интересную тему. Сдержанный, фатоватый врач как бы загорался, правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты, точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе, никогда не улыбался, если рассказывал смешное, а сравнения его порою были так метки и красочны, что, слушая его, я всегда томился одной мыслью: «Врач ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей дороге и быть тебе нужно только писателем...»

И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а щурился на цифру «2» на неизвестную даль.

«Что он там разыскал? Картинка, что ли». Я покосился через плечо и увидел, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись: «Сравнительная величина лошади (1 сила) и мотора (500 лошадиных сил)».

– Все это вздор, товарищи, – заговорил я, продолжая беседу, – обывательская пошлятина. Валят они, черти, на врачей, как на мертвых, а на нас, хирургов, в особенности. Подумайте сами: человек 100 раз делает аппендицит, на сто первый у него большой и помрет на столе. Что же, он его зарезал, что ли?

– Обязательно скажут, что зарезал, – отозвался доктор Гинс.

И если это жена, то муж придет в клинику стулом в вас швырять, – уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся, и мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинику.

– Терпеть не могу, – продолжал я, – фальшивых и покаянных слов: «Я убил, ах, я зарезал». Никто никого не режет, а если и убивает, у нас в руках, больного, убивает несчастная

случайность. Смешно, в самом деле! Убийство не свойственно нашей профессии. Какой черт!.. Убийством я называю уничтожение человека с заранее обдуманым намерением, ну, на худой конец, с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке – это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу.

Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову, причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым, и сказал:

– Я к вашим услугам.

При этом он пальцем ткнул себя в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта.

Мы посмотрели на него с удивлением.

– То есть как? – спросил я.

– Я убил, – пояснил Яшвин.

– Когда? – нелепо спросил я.

Яшвин указал на цифру «2» и ответил:

– Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь, и вижу 2-е число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно семь лет, ночь в ночь, да, пожалуй, и... – Яшвин вынул черные часы, поглядел, – ... да... час в час почти, в ночь с 1-го на 2-е февраля я убил его.

– Пациента? – спросил Гинс.

– Пациента, да.

– Но не умышленно? – спросил я.

– Нет, умышленно, – отозвался Яшвин.

– Ну, догадываюсь, – сквозь зубы заметил скептик Плонский, – рак у него, наверное, был, мучительное умирание, а вы ему морфий в десятикратной дозе...

– Нет, морфий тут ровно ни при чем, – ответил Яшвин, – да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на пятнадцать, звезды... Ах, какие звезды на Украине! Вот семь лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно в поезд... И туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом. Днепр... Нет красивее города на свете, чем Киев.

Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съезился в кресле и продолжал:

– Грозный город, грозные времена... И видал я страшные вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19-м году, как раз вот 1-го февраля. Сумерки уже наступили, часов шесть было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком, запикиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово:

– Бежать, бежать...

Рубашку то засуну в чемодан, то выну... Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький, подштанники заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно... Далеко, далеко тяжко так тянет – бу-у... гу-у... тяжелые орудия. Пройдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно, я жил на крутизне, наверху Алексеевского спуска, виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами... Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днепром, я шепчу:

– Дай, дай, еще дай.

Дело было вот в чем: в этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами, большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал – с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали

кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили и в них люди с красными галунными шल्याками на папах, пушки вдали не переставали в последние дни ни на час. И днем и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами не далее как накануне лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шаркался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то простоволосые бабы выскакивали из подворотен, грозили кулаками в небо и кричали:

– Ну, погодите. Придут, придут большевики.

Омерзителен и жалок был вид этих двух, убитых неизвестно за что. Так что в конце концов и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдали ворчат, как будто в утробе земли.

Итак...

Итак: лампа горит уютно и в то же время тревожно, в квартире я один-одинешенек, книги разбросаны (дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень), а я над чемоданчиком.

Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру и за волосы вытащили меня и поволокли, и полетело все, как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал его тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу.

На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом:

«С одержанием сего...»

Кратко, в переводе на русский язык:

«С получением сего, предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения...»

Значит, таким образом: вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батько Петлюра, погромы и я с красным крестом на рукаве в этой компании... Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья, и на окраину к приятелю фельдшеру, человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики – миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчит...

Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман, надел шинель с повязкой красного креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ошупью, среди сумеречных теней, вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку.

И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами.

Один был в шпорах, другой без шпор, оба в папах с синими шल्याками, лихо свешивающимися на щеки.

У меня сердце стукнуло.

– Вы ликарь Яшвин? – спросил первый кавалерист.

– Да, я, – ответил я глухо.

– С нами поедете, – сказал первый.

– Что это значит? – спросил я, несколько оправившись.

– Саботаж, вот що, – ответил громыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво, – ликаря не хотят мобилизоваться, за що и будут отвечать по закону.

Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница... улица...

– Куда же вы меня ведете? – спросил я и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку.

– В первый конный полк, – ответил тот, со шпорами.

– Зачем?

– Як зачем? – удивился второй. – Назначаетесь к нам ликарем.

– Кто командует полком?

– Полковник Лещенко, – с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня.

«Сукин я сын, – подумал я, – мечтал над чемоданчиком. Из-за каких-то подштанников... Ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше».

Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах полыхало электричество. Гремя шпорами, меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел клочьями.

«А ведь это кровь», – подумал я, и сердце мне неприятно сжало.

– Пан полковник, – негромко сказал тот, со шпорами, – ликаря доставили.

– Жид? – вдруг выкрикнул голос, сухой и хриплый, где-то.

Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек.

Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским пояском с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно.

– Нет, не жид, – ответил кавалерист.

Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза.

– Вы не жид, – заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке – смеси русских и украинских слов, – но вы не лучше жида. И як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить! – приказал он кавалеристу. – И дать ликарю коня.

Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал:

– Смилуйтесь, пан полковник...

Я мутно увидел трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица.

– Дезертир? – пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой, – их ты, зараза, зараза.

Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятку ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своею кровью, упал на колени. Из глаз его потоком побежали слезы...

А потом сгинул белый заиндевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленная деревьями, и по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк.

В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленное нарощим мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня все как-то стыло, так

же как стыли ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал, лишь по временам пропадая, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шомполами, и его били в особняке.

Черная даль теперь молчала, и я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет и я не понадобится непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека...

Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь стинула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большею частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один. Мой конвой оставил меня. «Бежать», – я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей стеариновой свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьми, бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые пять минут под полом внизу вспыхивал визг. Я уже точно знал, в чем дело. Там когонибудь избивали шомполами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежные, как казалось сквозь пол, мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом, иногда резко обрывался, точно ножом срезанный.

– За что вы их? – спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву у поси-невшего большого пальца. Он ответил:

– Организация попала в Слободке. Коммунисты и жида. Полковник допрашивает.

Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С четверть часа я так провел, и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо под золотыми галунами, голос моего конвоира:

– Пан полковник вас требует.

Я поднялся, под изумленным взглядом конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидел полковника Лещенко в свете фонаря.

Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами.

– Сволочь, – процедил полковник, потом обратился ко мне: – Ну, пан ликарь, перевяжите меня. Хлопец, выйди, – приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протискался в дверь. В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. «Орудия», – подумал я, вздохнул судорожно, спросил:

– От чего это?

– Перочинным ножом, – ответил полковник хмуро.

– Кто?

– Не ваше дело, – отозвался он с холодным, злобным презрением и добавил: – Ой, пан ликарь, не хорошо вам будет.

Меня вдруг осенило: «Кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть...»

– Снимите марлю, – сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышался топот, возня, грубый голос закричал:

– Стой, стой, черт, куда...

Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее иступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.

– Уйди, хлопец, уйди, – приказал полковник, и рука исчезла.

Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим бесслезным голосом:

– За что мужа расстреляли?

– За що треба, за то и расстреляли, – отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все больше алел под его пальцами.

Она усмехнулась так, что я стал не отрываясь глядеть ей в глаза. Не видел таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:

– А вы доктор!..

Ткнула пальцем в рукав, в красный крест и покачала головой.

– Ай, ай, – продолжала она, и глаза ее пылали, – ай, ай. Какой вы подлец... вы в университете обучались и с этой рванью... На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел... А вы ему перевязочку делаете?..

Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.

– Вы мне говорите? – спросил я и почувствовал, что дрожу. – Мне?.. Да вы знаете...

Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул:

– Хлопцы!

Когда ворвались, он сказал гневно:

– Дайте ей двадцать пять шомполов.

Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки, а полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевком, повисший на правом усе.

– Женщину? – спросил я совершенно чужим голосом.

Гнев загорелся в его глазах.

– Эге-ге... – сказал он и глянул зловеще на меня. – Теперь я вижу, якую птицу мне дали вместо ликаря...

.....

Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете и кровь у него бежала изо рта, потом сразу выросли потеки на груди и животе, потом его глаза угасли и стали молочными из черных, затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустить седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть», – думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекла ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор, пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду, почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. И потом всю ночь грохотало по Слободке и било, а я сидел

в кирпичной норе и молчал и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шомполами. А когда стихло, чуть-чуть светало, и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, – я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка... Только навоз на истоптанной дороге...

И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль, в каких-то шапках с наушниками.

Меня остановили, спросили документы.

Я сказал:

– Я лекарь Яшвин. Бегу от петлюровцев. Где они?

Мне сказали:

– Ночью ушли. В Киеве ревком.

И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит:

– Идите, доктор, домой.

И я пошел.

\* \* \*

После молчания я спросил у Яшвина:

– Он умер? Убили вы его или только ранили?

Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой:

– О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту.